

Борис
Штейн

Уходит век

Роман

Борис Самуилович Штейн

Уходит век

Авторский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4559381

Аннотация

В романе, во многом автобиографическом, писатель «подводит» собственные итоги XX века.

Эпохальные события проходят через частную жизнь «маленького человека» – военного моряка, рабочего, журналиста, писателя, книготорговца... кем только не побывал за свою жизнь Борис Штейн.

Увлекательный сюжет, яркие любовные истории, авторские размышления написанные прекрасным русским языком, не оставят равнодушным самого взыскательного читателя.

Содержание

Мальчик и лейтенант	9
Командировка во внешнюю жизнь	11
Гороховая каша	20
Так было	26
Где граница серьезности?	36
Я счастлив был в своем крахмальном кителе	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Борис Самуилович Штейн Уходит век

Это было в 1980 году в Таллинне, в кабинете главного редактора издательства «Ээсти раамат» Акселя Тамма. На небольшом совещании меня уговаривали согласиться с редактором Постновой, которая обработала мою рукопись «Отплытие», и не возражать... Но как тут было не возражать! Произведение было автобиографическим, в нем отразилась моя жизнь: военное детство, учеба в военно-морском училище, корабельная служба. И – моя ирония, легкое подтрунивание над вездесущим идеологическим штампом – добродушное, надо сказать, подтрунивание. Нет, я не был борцом с системой в этой рукописи, но не был и дураком, подставляющим уши для лапши. Милейшая же Валентина Константиновна Постнова талантливо угадала все пассажи, несущие эту слабую иронию, и мастерски их удалила, заштуковав, заштопав образовавшиеся прорехи. И картина жизни на страницах рукописи изменилась: из цветной стала черно-белой, из живой – мертвой.

Кто-то из присутствующих сказал: «Соглашайтесь, Борис, и рукопись завтра же отправится в производство».

Ах, это было заманчиво!

Для скромного, не из «обоймы», писателя это был факт биографии плюс аванс. В условиях явного превышения предложения над спросом в смысле литературных дел.

Я молчал. Что ж, Валентина Константиновна – она же не ведьма какая-нибудь, не вредительница. Хорошая, умная, интеллигентная женщина. Но она существовала в системе. В вялой, умирающей, но до цинизма отлаженной системе торможения. Дело в том, что подписанная редактором рукопись сразу шла в набор. И уже гранки, то есть отпечатанные листы, поступали в цензуру, носившую элегантно имя «Главлит». И вот цензор находит необходимым что-то убрать и что-то переделать. А ведь уже напечатано. Уже затрачен труд, материалы. Так. Стоп. А по чьей вине напечатано? По вине редактора. Выговор. Лишение премии, то есть части зарплаты. Скромной, надо сказать, зарплаты...

– Ну так что? – спросил меня главный редактор Аксель Тамм.

Окончательное решение принимал он. Как Кутузов в Филях. Всех выслушивал, а потом принимал решение. Аксель Тамм был таким функционером: лояльным, но прогрессивным. Как опытный лоцман, вел он флотилию эстонской литературы, умело лавируя между цензурными рифами и идеологическими отмелями. И, надо сказать, выводил ее на читательский простор с минимальными потерями.

Но мне как-то сказал доверительно:

– Поймите, Борис, я не в том вижу свое предназначение, чтобы спасти от цензуры русских писателей. Имелось в виду, что русских писателей пусть спасают московские главные редакторы.

Одним словом, мне было ясно, что цацкаться со мной не будут.

Что он Гекубе?

Что ему Гекуба?

Но я сказал...

Я не сразу решился – у меня в таких случаях всегда не хватало смелости – но все же высказал то, над чем размышлял неоднократно.

Начал с вопроса:

– Как вы думаете, в чем я вижу смысл своего писательского труда? – и продолжал, не дожидаясь ответа: – Поверьте, не в том, чтобы получить гонорар и поехать в дом творчества, прихватив экземпляры для подарков знакомым.

Кто-то спросил:

– А в чем же?

И вот тогда я и выпалил:

– А в том, чтобы внести посильную лепту в коллективную историческую память человечества. Никто лучше меня не знает то, о чем я написал, и то, как лично я воспринимал окружающие меня обстоятельства. А если согласиться с этой редактурой, то историческая память человечества не получит ничего.

Валентина Константиновна вспыхнула и вышла из помещения.

А я добавил обреченно:

– Прошу дать мне другого редактора.

Надо сказать, что все, а их без Валентины Константиновны оставалось в кабинете четыре человека, – посмотрели на меня с удивлением, потом воцарилась пауза, а потом главный редактор Аксель Тамм сказал:

– Вы сейчас отодвинули выпуск своей книги минимум на год.

Но что такое год по сравнению с веком?

Я начинаю эти записки в июле 1998 года. Например, сегодня 11 июля. То есть, восемнадцать лет прошло с того маленького совещания. А я все ношусь с этой высокопарной мыслью насчет исторической памяти человечества.

Я живу теперь в другом городе, другой семье, можно сказать – в другом государстве, да что там: в другом мире. Вот уже лет семь, как я занимаюсь книжной торговлей. Так что по роду своей деятельности я теперь не писатель, а предприниматель. Предприниматель без образования юридического лица. Так сказано в моем свидетельстве, зарегистрированном в налоговой инспекции № 37. И моя жена Лариса тоже теперь не композитор, а предприниматель без образования юридического лица по ведомству той же самой налоговой инспекции. Она – ведущая в нашем семейном предприятии. Бизнес держит нас в постоянном напряжении, отбивает посторонние мысли. На них не хватает времени и мозговой энергии. Но однажды в одну из редких минут делового простоя, Лариса сказала:

– Уходит век...

Эти слова зазвенели во мне, засветились, извлекли из темноты тревожное чувство обязанности.

Уходит век, и я обязан...

Перед кем – обязан?

Кому – обязан?

Не знаю.

Знаю только, что обязан зафиксировать хотя бы контрапункты своей жизни – жизни спутника двух третей двадцатого века. Ведь я родился в 1933 году – треть века прошла без меня, две трети – при моем участии.

Мне шестьдесят пять лет. Я сижу на застекленном балконе своей квартиры на окраине Москвы, передо мной – большая конторская книга – моя тетрадь. Несколько шариковых ручек ждут своего часа. Мне хочется, прежде всего, зафиксировать мгновение, ну, не мгновение – день, сегодняшний день 11 июля 1998 года. Ведь, когда я закончу свои записки, этот день сотрется в памяти, его загадки будут разгаданы и, возможно, к ним утратится интерес. А сегодня я не знаю, кто завтра выигрывает чемпионат мира по футболу: Бразилия или Франция, уйдут ли шахтеры с горбатого мостика у Белого Дома, разблокируют ли другие шахтеры Транссибирскую магистраль, окажется ли вдова генерала Рохлина убийцей своего мужа, выбьет ли Чубайс в МВФ кредит в двадцать миллиардов долларов, разрешит ли Конституционный суд в третий раз избирать Ельцина президентом, найдут ли похищенного в Чечне представителя Президента России генерала Власова, назовут ли и осудят ли убийц

Листьева и Холодова, гладко ли пройдут в Москве юношеские Олимпийские игры, разорвут ли страны Европейского Союза дипломатические отношения с Белоруссией?..

Все это висит в воздухе, сгущает атмосферу, и в этой сгустившейся атмосфере с завидным постоянством звучат выстрелы совершенно аполитичных наемных убийц. Особенно опасно сегодня быть директором, или собственником, или распорядителем кредитов банка, отдела рекламы на телевидении, казино, бензоколонок, спортклуба «Спартак», крупного издательства...

Вообще опасно БЫТЬ.

Таков сегодняшней день – 11 июля 1998 года.

Книга «Отплытие» вышла в издательстве «Ээсти Раамат» в 1981 году, и открывалась она маленькой новеллой «Мальчик и лейтенант». Я довольно долго сочинял эту новеллу, этот незатейливый рассказик – одно из первых моих прозаических произведений. Я сочинял ее, как стихотворение, не записывая, не останавливая повседневных дел, мучительно выделяя и переделывая каждую фразу. Фразы должны были быть легкими и емкими, а мне все время казалось, что они недостаточно легки и недостаточно информативны. И что картина жизни уральского села во время войны, увиденная глазами голодного ленинградского мальчика, – не передается.

Между тем над моей головой сгущались в то время военно-политические тучи. Год был 1969-й, вышел в свет второй сборник моих стихов. Он назывался «Сквозняки».

Меня за него хвалили, приняли в Союз писателей, выбрали даже делегатом от Эстонии на IV писательский съезд. Как говорится, «Москва, Кремль». А сам я служил в то время в дивизионе эскадренных миноносцев резерва в невысоком для своего 36-летнего возраста звании капитан-лейтенанта.

Первый гром грянул на совещании партактива. Некий капитан 2-го ранга – фамилию начисто забыл, помню только, что служил он пропагандистом политотдела Таллиннской Военно-морской базы, – выступил с резкой критикой этих самых «Сквозняков», вредных для личного состава флота, а также сухопутной молодежи. Упадочность, которая содержалась в стихах, позорила честь офицера и коммуниста. Потом меня разбирали на партийном собрании штаба (я был офицером штаба дивизиона), где, например, дивизионный связист говорил доверительно, как боевой товарищ боевому товарищу:

– Боря, я стихов твоих не читал, книжки не видел, но скажу честно: не тем ты занимаешься. Вот, я знаю, был флотский поэт Алексей Лебедев. Я даже помню, он написал:

«Каждый, кто служил в Кронштадте и ходил в морском бушлате»...

И так далее. Вот и ты бы так, и мы бы тебя не разбирали...

Меня стали «таскать» по политическому начальству. Начальник политотдела контр-адмирал Сергеев кричал на меня, а я все время говорил: «Есть, товарищ адмирал».

– И лирика у вас какая-то грустная!

– Есть, товарищ адмирал!

– И в морских стихах – упадничество!

– Есть, товарищ адмирал!

– Что вы все заладили – «есть» да «есть»!

– Вы разговариваете со мной, как адмирал с младшим офицером, я отвечаю вам, как младший офицер адмиралу.

Особенно разгневало его стихотворение «На смерть матроса».

На эсминце «Свободный» во время шторма волна смысла не к добру пробежавшего по палубе старшего матроса Керекеша. Он был с Западной Украины, по национальности – венгр.

Четыре отслужил на флоте.
Сам – с юга.
Сегодня смыт на повороте.
Смыт с юга.
Мгновенно! Не успел пригнуться,
Ни крикнуть «ох», ни матюгнуться.
Да как же так! Ведь – не война!
Без смысла!
Был. Говорил. Пришла волна.
Нет. Смыло.
Как рано! Не успел жениться.
Сегодня не успел побриться.
Как есть? Как пить? Как говорить?
Как раньше?
Но нужно жить.
Но нужно плыть.
Плыть дальше.

Адмирал не вдавался в смысл и суть этих строк. Сам факт, что смерть была связана с военной службой, приводил его в ярость. Скорее даже не факт смерти, а факт описания этого события в стихотворении.

Я выслушивал громовые тирады и дисциплинированно отвечал: «Есть, товарищ адмирал!»

Потом он сказал про меня председателю парткомиссии капитану первого ранга Рязанцеву:

– Вообще-то, офицер неплохой. Вежливый.

Не стоит лукавить! Это сейчас я вспоминаю о тех разносах с улыбочкой. А тогда страшно переживал. Нет, я не страшился возможных оргвыводов: военная карьера меня в то время уже не привлекала. Но я так любил поэзию, я так любил эту свою книжку, в которой, казалось, приблизился к тайне поэзии! (Я даже сказал тогда адмиралу: «Вы не швыряйте, пожалуйста, эту книжку: я вложил в нее душу!»)

Я не желал быть руганным за свое детище, вот в чем дело!

А тучи продолжали сгущаться. В Калининграде в газете «Страж Балтики» рассматривали разгромную статью, которую написал все тот же пропагандист политотдела. Вспомнил его фамилию: Смирнов, капитан 2-го ранга Смирнов. Близкий к редакции «Стража» калининградский поэт Игорь Пантюхов с трудом сдержал напор неумолимого капитана 2-го ранга.

И мой друг, поэт Никита Суслович, капитан тоже, к тому времени, 2-го ранга и по военно-учетной специальности – тоже политработник, принялся защищать меня в высшей на Балтике политической инстанции – в приемной члена Военного Совета (ЧВС) Балтийского флота адмирала Почупайло. Через друзей, близких к Члену он добился для меня аудиенции на определенное число. День и час были записаны в рабочем календаре мичмана – адъютанта ЧВС.

Я как раз отправлялся в командировку в Киргизию за призывниками, обратный путь лежал через Калининград, где и находились штаб и политотдел Дважды Краснознаменного Балтийского Флота. Место и время аудиенции обеспечивалось моим маршрутом.

Я всегда охотно вызывался в эти довольно трудные командировки: они прибавляли впечатлений, и о них особый разговор.

А в этот раз я пребывал под гнетом не досочиненного рассказа, и контрастом с окружавшей меня железнодорожно-военкоматовской действительностью звучала первая фраза будущего повествования, фраза, в которой ничего нельзя было ни прибавить, ни убавить:

ТРЕТИЙ УРОК ТАК И НЕ НАЧАЛСЯ, ПОТОМУ ЧТО НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ В СЕЛО ПРИЕХАЛ ТАНК.

Первая фраза была готова, картинка стояла перед глазами, а слова не подбирались, а если и подбирались, то не те и не в той, что надо, последовательности, и картинка тускнела, и настроение не передавалось.

Командировка моя, между тем, подходила к концу. Я сдал будущих воинов в гарнизоне Пионерский Курорт и через три дня должен был получить команду молодых матросов для препровождения в Таллинн. В один из этих трех дней мне и предстояло встретиться с адмиралом Почупайло.

В Калининграде жила моя старшая двоюродная сестра Шура, у нее я и остановился. И в день приема у ЧВС я увидел на письменном столе ее мужа Сергея Аполлинариевича пишущую машинку «Эрика» – точно такую, как моя, оставшаяся в Таллинне. И я почувствовал неодолимую тягу к машинке, к чистому листу бумаги, к сочиняемому рассказу. Я с ужасом представил, как в приемной ЧВС мои доброжелатели и адъютант ищут меня, как раздражается адмирал Почупайло, которому не очень-то и хотелось...

Я все это представил, но не стал противиться желанию и заправил в машинку чистый лист. И хоть мозги мои с семнадцати лет были пропитаны духом военных отношений, родилась в них несложная мысль о том, что суета и неприятности пройдут, а рассказ останется. Именно так я и сказал Никите Суловичу, когда он мне пенял за неявку. И Никита со мной согласился. Так и получилось. Где теперь пропагандист Смирнов? Где политический адмирал Сергеев? И где член Военного Совета Дважды Краснознаменного Балтийского Флота адмирал Почупайло? А рассказик остался, как дорогая для меня вещица, которую можно взять в руки, погладить и поставить на полочку...

Мальчик и лейтенант

Третий урок так и не начался, потому что на большой перемене в село приехал танк. Он взревел, давая перегазовку, и замер у самой школы. И тогда из люка вылез лейтенант. Лейтенант был молод, белобрыс и синеглаз. Он посмотрел на небо, на ласковое весеннее солнышко, размял плечи и улыбнулся. Потом посмотрел на ребят, окруживших танк, и присвистнул, потому что ребят было много. Они жались друг к другу и во все глаза глядели на танк, на лейтенанта, на его замавленную гимнастерку с двумя медалями и с нашивкой за ранение.

– Ишь ты, – сказал лейтенант и стал сворачивать сигарку.

– Дядя, – спросил стриженный мальчик в защитном детдомовском костюмчике, – а куда вы едете?

– На войну, – сказал лейтенант, – а то куда же?

Это была правда, но не в том, конечно, смысле, как поняли ребята. Ребята поняли так, что лейтенант залезет сейчас обратно в люк и танк на одном дыхании покроет расстояние от этого уральского села до фронта и с ходу примется громить убегающих в панике фашистов. На самом же деле танк шел своим ходом только до станции Челябинск-2, где грузилась на платформы материальная часть танкового батальона.

Но лейтенант не стал ничего этого объяснять, он похлопал себя по карманам в поисках спичек и спросил шутливо:

– Курящие есть?

– Есть, – ответил тот же детдомовский мальчик и вытащил из кармана штанов мудреные принадлежности для добывания огня: кресало, кремневый камешек и фитиль. Он приложил фитиль к камешку и ловко, одним скользящим ударом высек сноп искр. Протянул лейтенанту тлеющий фитилек и сказал, как взрослый взрослому:

– На.

Лейтенант наклонился, звякнув медалями, закурил с удовольствием и опять улыбнулся.

– А ты что, куришь? – спросил он.

– У нас все курят, – ответил детдомовский мальчик.

– Зачем? – удивился лейтенант.

– Жрать охота, – сказал мальчик. – А покуришь – и ничего.

Все ребята, окружившие танк, были худы и голодны: и детдомовские, и деревенские. Но этот мальчик был совсем плох. Больно уж тонкая шея как-то жалко торчала из воротника казенной курточки. И лейтенанту вдруг стало страшно, что табак попортит детские легкие и это тщедушное тело зачахнет.

– Слушай, – сказал он, – ты не кури, а? А то ведь помрешь.

– А че, – возразил на это другой мальчик, из деревенских. – Не помрет. Он хоть и тощий, а дерется шибко баско.

Ребята засмеялись.

– Дерешься? – заинтересованно спросил лейтенант.

– А пусть не лезут, – буркнул детдомовский мальчик, насутился и посмотрел на лейтенанта исподлобья.

– Ну что ж, – согласился лейтенант, – только ты все-таки не кури.

– А сам куришь! – дерзко сказал мальчик.

– А если брошу? – спросил лейтенант.

– Тогда и я брошу, – ответил мальчик.

– Ну, я бросаю, – сказал лейтенант. Он вынул из кармана кисет и, вздохнув, швырнул его в крапиву. И никто из ребят не кинулся за кисетом, никто и бровью не повел, словно табак не был у них в дефиците.

– И я бросаю, – твердо сказал мальчик и швырнул в крапиву свой камешек и кресало, которое сам недавно изготовил из обломка старой литовки.

В это время из люка показалась чумазая физиономия механика-водителя.

– Готово, – сказал он. – Поехали.

Лейтенант подмигнул ребятам:

– Прокатимся?

Ребята с трудом уместились на танке. Они стояли, плотно прижавшись друг к другу, а танк медленно и осторожно ехал по селу.

У околицы распрощались, и каждый из ребят прикоснулся рукой к лейтенантской гимнастерке.

Потом танк взревел и помчался в клубах пыли, унося в бой, в бессмертие, в легенду некурящего лейтенанта.

Да. Героический танк моего детства скрылся в клубах пыли, я вынул из машинки покрытый текстом лист и весь вечер провел наедине со своим рассказом. А наутро отправился в Пионерский Курорт за вверенной мне командой.

Через четыре дня я прибыл на корабль, а на другой день уже заступил в наряд – вахтенным офицером.

Я тут чуть выше упомянул вскользь, что командировки за призывниками были для меня источником свежих впечатлений. Корабельная жизнь, исполненная романтической специфики и служебной рутины, не давалась как литературный материал, как ни странно. А внешняя, то есть обыкновенная жизнь – вне корабля, – как ни странно, давалась. И даже просилась на бумагу.

Я решил привести в этих записках рассказ, написанный в результате нескольких таких командировок, потому что рассказ этот полностью про меня, хоть себя я и не назвал здесь по имени, а ограничился званием – лейтенант. Остальные же персонажи названы так, как звались в жизни...

Командировка во внешнюю жизнь

Лейтенант был флотский, крейсерский, а ефрейтор – из парашютно-десантных войск. У лейтенанта не было жизненного опыта, а если и был, то весьма ограниченный, потому что семь из своих двадцати четырех он провел в рамках родного ведомства. Высшее военно-морское училище, а потом крейсер – это были во многом похожие формы жизни, где все – работа, быт и поведение – регламентировалось уставами, наставлениями, правилами и инструкциями. Неожиданности предусматривались и тоже регламентировались. Правда, бывали отпуска, эти ежегодные командировки во внешнюю жизнь. Но и отпуска были регламентированы традициями. Парадные визиты к родственникам, театральные антракты с дефилированием по фойе под руку с сияющей от гордости мамой, ухаживание за девушками.

Ефрейтор же был человеком бывалым. В своих парашютно-десантных войсках он был поваром. А повар – это уже фигура: строевых много, а повар один.

Лейтенанту дали ефрейтора на призывном пункте, потому что у старшего матроса, с которым приехал лейтенант, случился аппендицит, и его пришлось положить в гарнизонный госпиталь, а везти без помощника семьдесят призывников не позволяла инструкция.

Ефрейтор был крупный розовощекий парень с быстрыми, понятливыми глазами. Повадка его определялась готовностью все моментально выполнить и устроить в лучшем виде – почтительная исполнительность, готовая в любой момент перейти в фамильярность.

– Довезем, – подмигнул он лейтенанту и хихикнул. Лейтенант впервые был в такой командировке. Из опыта своих товарищей он знал, что дело это нелегкое. Про накал буйного южного темперамента, закупоренного в душные эшелонные вагоны, ходили настоящие легенды.

«Ладно, – думал лейтенант, – разберемся по обстановке».

– Довезем, – сказал он ефрейтору, – я и не сомневаюсь.

Сначала, когда эшелон тронулся, лейтенант и ефрейтор все мотались по купе, буквально вытаскивая призывников из окон и не давая им выкидывать из поезда бутылки, банки и остатки пищи. Причем, тех, кто особенно усердствовал в этом деле, ефрейтор слегка поколачивал. Правда, делал он это не обидно, призывники вокруг смеялись, и те, кому попадало по шее или по оттопыренному заднему месту, тоже смеялись, не подавая вида, что им все-таки больно. Первые двое смельчаков, вопреки запрету закурившие в вагоне, мыли туалеты. Ефрейтор работал не за страх, а за совесть.

Часа через полтора первоначальное возбуждение улеглось, призывники устали, их начал морить сон. Проводница вагона, немолодая, анемичная девушка с глазами не то заплаканными, не то сонными, сказала, что может выдать постели, но не каждому призывнику отдельно, а на всех – под ответственность лейтенанта. Не то потом она концов не найдет, кто брал, а кто не брал. Это не удивило лейтенанта. Он привык за все отвечать.

– Хорошо, – сказал лейтенант, – а что вы такая грустная?

– А чего веселиться, – хмуро отрезала проводница и поджала тонкие губы.

– Чаек будет? Давно не чаевничали, – по-свойски спросил ефрейтор, располагая проводницу к неофициальному разговору.

– Титан скипятила, – отозвалась проводница и опять поджала губы и уставилась отчужденно в одну точку.

– Царапнём горяченького? – радостно спросил ефрейтор, заговорщицки подмигнув лейтенанту, и завозился было, организуя чаепитие, но лейтенант недовольно заметил:

– Не торопитесь, ефрейтор. Сначала нужно людей уложить.

– Это мы мигом, – подхватил ефрейтор и, проходя мимо проводницы, легонько ущипнул ее за тощий бок.

Лейтенант испугался, что сейчас поднимется шум, но проводница даже не моргнула своими белесыми глазами. Она сказала только презрительно и как-то безнадежно:

– Тоже мне ухажер!

И опять поджала губы и ушла за полог.

Полог был обыкновенным казенным одеялом, он отделял купе, в котором ехали лейтенант и ефрейтор, от остальной части общего вагона, проводя субординационную грань между ротой призывников и начальством. Через минуту ефрейтор привел в командирское купе парня, который еще на сборном пункте был назначен на путь следования агитатором. Это был коренастый крепыш деревенского вида, с борцовской шеей и простодушной усмешкой.

– Вот, – сказал ефрейтор, – Ибрагимов Муса. По-русски запросто чешет.

– Отлично, – сказал лейтенант. – Слушай, Ибрагимов Муса, боевую задачу: собрать с желающих по рублю и отдать проводнице, получить у нее причитающиеся простыни и все прочее и раздать призывникам. Осилишь?

– Осилю, – улыбнулся Муса. – Я деньги уже собрал. Желаящие – все. – С этими словами он вынул из кармана старых бесцветных джинсов толстую пачку рублевок и трешниц, расправленных и сложенных аккуратно, и протянул лейтенанту.

– Зачем мне, – сказал лейтенант, – сам отнеси.

– Все заделаем в лучшем виде! – весело перебил ефрейтор, перехватил деньги и вышел вместе с Мусой.

«Действительно, хорошо по-русски говорит, – подумал лейтенант, – почти без акцента».

В это время Муса закричал что-то на своем языке, видимо, объявляя насчет постелей. Голос у него был резкий, хриловатый и, как показалось лейтенанту, базарный.

Моментально все в вагоне пришло в движение, люди пососкакивали с полок, сгрудились у служебного купе, и лейтенант невольно подумал на флотский манер: «Как бы сильного дифферента не получилось, как бы рессора не лопнула».

Лейтенант отогнул полог. Муса стоял, расставив ноги, на двух нижних полках, стаскивал сверху матрасы и кидал их своим товарищам. Могучая спина его лоснилась от пота, он был в азарте. Голос его стал совсем хриплым – он сорвал его, перекрывая невероятный гам, который подняли призывники. Однако этот хриплый голос вносил какую-то определенность в неразбериху, толчею и шум, поднятые, в сущности, безо всякого смысла, потому что постелей, естественно, было достаточно для всех, спешить тоже было некуда: впереди лежала длинная дорога, а в дороге всех дел-то – есть, спать да разговоры разговаривать.

Вскоре все устроилось, каждый получил свою постель, а разгоряченный Муса пошел в туалет мыться. Он вымылся, растерся вафельным полотенцем, потом лейтенант видел, как он курил в тамбуре и улыбался. И лейтенант подумал, что этому человеку доставляет удовольствие любое, самое маленькое дело, куда ему случается приложить свою энергию. Он знал таких ребят среди матросов. Они с одинаковым рвением занимались самым интересным – специальностью – и самым неинтересным – вахтами и нарядами. И три года военной службы, которые для некоторых были наполнены драматизмом ломки характера, у этих жизнелюбивых людей пролетали играючи, без надрыва и напряжения.

– Царапнём? – восторженно подмигнул ефрейтор, ставя на столик две кружки горячего чая. На газете горкой лежали куски пирога, вареная курица, пяток яиц, копченое мясо, чурек и еще какие-то кушанья, неизвестные лейтенанту.

– Ибрагимов принес, – объяснил ефрейтор. – Я ему намек дал, и он принес. Понятливый.

Это не понравилось лейтенанту, но он ничего не сказал. Ему вдруг показалось, что родное военно-морское ведомство продолжает окружать его непробиваемым панцирем и заботой – по крайней мере о том, чтобы он, лейтенант, был своевременно накормлен.

Приоткрылся полог. Добродушно усмехаясь, в купе заглянул Муса.

– Всем довольны? – спросил Муса лейтенанта. – Ничего больше не требуется?

– Спасибо, спасибо, – поспешно ответил лейтенант, – да и не стоило это... у нас есть консервы и колбаса.

Потом сказал:

– Завтра с утра начнут выдавать сухой паек – переходим на казенный харч. Скажи своим, пусть до утра все домашнее прикончат, особенно мясное, чтобы отравления потом не получилось.

– Не прикончат, – усмехнулся Муса, – нет, не прикончат – слишком много набрали. А насчет мясного – прослежу. Это правильно.

– Дневальные стоят? – спросил ефрейтор.

– Стоят, – ответил Муса, – в каждом тамбуре.

– Смотри, – сказал ефрейтор, явно любуясь собой, – если кто уснет, сам будешь сортиры драить, понял? Ты за всех теперь отвечаешь, за своих, понял?

– Понял, – сказал Муса и исчез.

– Приучается к службе, – сказал ефрейтор и хихикнул.

Ночь лейтенант с ефрейтором поделили пополам. Часов в двенадцать лейтенант уснул, а в три легко поднялся. Он никогда в жизни не пользовался будильником и мог проснуться в любое время. Когда на корабле рассыльный приходил будить его на вахту, лейтенант обычно уже сидел на койке и говорил ясным голосом:

– Передай вахтенному привет и скажи, что скоро сам пожалую.

Лейтенант вышел из купе. Около тамбуров боролись со сном дневальные. Вернее, один боролся при помощи книги и письма, а другой уже не боролся и глубоко спал, уронив голову на откидной столик. Лейтенант разбудил дневального и сделал ему внушение. Ефрейтора нигде не было.

«Этого только не хватало», – подумал лейтенант и стал искать своего помощника. Он прошел весь эшелон в оба конца, но ефрейтора нигде не было. В штабном вагоне он узнал, что в десять утра на каком-то разъезде будет большая стоянка с раздачей сухого пайка. В тамбуре своего вагона он взялся руками за решеточку дверного стекла и стал смотреть в темную южную ночь, провожая взглядом редкие убегающие огоньки.

Отстать от эшелона ефрейтор не мог хотя бы потому, что у него не было никакой надобности выходить ночью на маленьких сонных станциях и полустанках. На больших станциях эшелон не останавливали. Да и там ночью делать ефрейтору было нечего. Отстать умышленно, с тем, чтобы куда-нибудь заехать и потом схлопотать себе крупные неприятности – этого такой парень, как ефрейтор, да еще при том, что ему служить осталось меньше месяца, делать, конечно бы, не стал. Все это были утешительные соображения, но они, к сожалению, не отвечали на простой вопрос: где ефрейтор?

Дверь в тамбур отворилась, вошел Муса, достал сигарету.

– Чего не спишь, Ибрагимов? – ровным голосом спросил лейтенант. – Ступай спать.

– Вы ефрейтора ищете? – улыбнулся Ибрагимов, – не ищите, он здесь, недалеко...

Встречный состав заглушил конец фразы, по тамбуру запрыгали блики, и лейтенанту вдруг показалось, что происходит какая-то нереальность, сон какой-то: непролазная ночь, грохочущий состав, распадающийся в бликах света тамбур, исчезнувший ефрейтор и Муса Ибрагимов, похожий на таинственного восточного джина, который говорит загадками. И для того, чтобы разрушить это жутковатое состояние, сказал нарочито начальственным тоном:

– Товарищ Ибрагимов, когда мне понадобится, я вас спрошу.

– Понял, – сказал Муса и пошел в вагон. Прошло полчаса, ефрейтор не появлялся, и лейтенант сам разбудил Мусу.

– Так где, говоришь, ефрейтор?

Муса сонно улыбнулся и спросил простодушно:

– Уже понадобилось?

– Понадобилось, – сухо сказал лейтенант и вдруг подумал, что Ибрагимов вовсе не такой простодушный, как кажется. Ему даже показалось, что Ибрагимов тайно изучает его, лейтенанта.

– Так где, ты говоришь, ефрейтор?

– В служебном купе у проводницы чай пьет, – сказал Муса и закрыл глаза, погружаясь в сон.

– Чай пьет, – озадаченно повторил лейтенант, – вот чертов ефрейтор... нашел тоже... – Лейтенант вспомнил недобрый анемичный взгляд и поджатые губы и передернул плечами.

– Ну, да черт с ним, хорошо, что нашелся.

Утром лейтенант увидел проводницу и поразился перемене: она была приветлива, больше не поджимала губы, а, напротив, все время улыбалась, и оказалось, что зубы у нее ровные и белые, и улыбка поэтому светлая. И если вчера она была просто тощей, то сегодня казалась стройной и гибкой; если вчера он думал, что ей лет двадцать восемь, то сегодня дал бы года двадцать три, не больше.

«Чудеса, – думал не имевший жизненного опыта лейтенант, – чудеса, – думал он, – а все-таки хорошо».

И он решил, что, может быть, присутствует при чудесном повороте чьей-то судьбы, и решил не трогать ефрейтора, пусть пропадает у проводницы, раз такое дело.

До конца пути следования ефрейтор появлялся в вагоне считанные разы, шумел для остротки и исчезал в служебном купе. Причем, там, в служебном купе, дело не обходилось без выпивки: от ефрейтора слегка тянуло перегаром. Лейтенант сделал ему замечание и получил в ответ обычные в таких случаях горячие заверения в том, что все будет нормально.

Муса полностью заменил ефрейтора. Это произошло как-то само собой. Муса устанавливал дневальство, получал и раздавал паек, на станциях выводил небольшие группы за покупками. Призывники охотно признавали в нем старшего. Он был энергичнее, умнее, да и старше других года на три-четыре. Когда подъезжали к конечному пункту, Муса, потягивая чаек, рассказал о своих делах. Оказалось, что он окончил институт, работал в НИИ, учился заочно в аспирантуре и готовил диссертацию по ЭВМ.

Через год он вернется к своей работе и своей диссертации. Он рассказал это не для того, чтобы выйти на равную ногу с лейтенантом. Просто зашла речь, вот он и рассказал. А насчет равной и неравной ноги у него была своя точка зрения:

– Завтра я буду руководить отделом, и инженеры будут выполнять мои распоряжения. А сегодня я – солдат, и ефрейтор для меня начальник. И нужно быть не тем, кем ты был вчера, и не тем, кем ты станешь завтра, а тем, кто ты есть сегодня. Тогда будет легко. Иначе будет трудно.

Так они беседовали за последней кружкой чая, а за окном проплывали песчаники, тронутые ветром сосны и облетевшие березы – щемящий душу приморский пейзаж. Путь подходил к концу. Два-три часа – и они разойдутся, чтобы никогда не встретиться. Одному – потянуть год солдатскую лямку и вернуться в свой НИИ шевелить мозгами, другому – получить три дня отгула за командировку и вернуться в бесконечную круговерть родного ведомства: вахта, занятия, тревога, вахта, сход на берег, вахта...

Отодвинув полог, в командирское купе вошла проводница. За ее спиной тенью маячила массивная фигура ефрейтора.

– Ага, – весело сказал лейтенант, – явление последнее: те же и хозяйка. Садись, красавица, посидим на прощание.

Однако проводница не воспользовалась приглашением и шутки не приняла. Суровая и неприступная, опять постаревшая на пять лет, она сказала, отрешенно глядя в пространство:

– Не хватает двух подушек по пятнадцать рублей штука. Пусть соберут деньги.

– То есть как не хватает? – удивился лейтенант. – В чем дело, ефрейтор? Что, их скупали, подушки эти?

– А, не знаю, – беззаботно ответил ефрейтор, – не хватает и все. Может, выбросили назло в окошко. Да вы не сомневайтесь, товарищ лейтенант, пусть на семьдесят копеек раскошелятся. В других вагонах больше собирали.

В других вагонах, действительно, собирали деньги за разбитые окна и всякие другие поломки, и проводники, действительно, заламывали десятерные цены. Но в этом вагоне собирать было совершенно не за что. И вот – подушки.

– Ибрагимов, – сказал лейтенант, – выясни у людей.

– Мне нечего выяснять, – твердо проговорил Муса, глядя в упор на ефрейтора. – Я их сам вот этими руками пересчитал, когда сдавал постели. Это все неправда!

– Ты много не разговаривай, – захорохорился ефрейтор, – сказано – выполняй.

Лейтенант почувствовал, как непозволительно, – по-мальчишески краснеет. То обстоятельство, что проводница пришла требовать эти несправедливые деньги как бы под защитой ефрейтора, привело его сначала в недоумение, а потом в бешенство.

– Отставить, – тихо сказал лейтенант. – Ибрагимов, идите к личному составу, готовиться к высадке. Вы, ефрейтор, из-под земли достанете эти подушки. Они утеряны в результате вашего халатного отношения к службе. И грабить призывников я не позволю. Вы поняли меня?

– Так точно, – сказал ефрейтор и хихикнул. – Только семьдесят копеек – какой же это грабеж? А с меня, товарищ лейтенант, взятки гладки. Как военнослужащий срочной службы, я – лицо материально не ответственное. Вот так.

– Ладно, – сказал лейтенант, – готовьтесь к высадке. И скажите спасибо, что вы не у меня служите. Все.

Когда эшелон остановился на станции назначения, проводница убрала полог и сказала:

– Двери не открою, пока не заплатите за подушки.

И ушла в свое купе.

Служба приучила лейтенанта к мысли, что иногда приходится делать совсем не то, что считаешь нужным. Святое слово «приказ» отодвигало в сторону всякого рода личные соображения. Он умел подавлять себя и подчиняться приказу. Но ему ни разу не приходилось сталкиваться с необходимостью подавлять себя и подчиняться обстоятельствам. Больше того, в его систематизированной и в общем разумной жизни ни разу не возникало враждебных обстоятельств. Теперь же такие обстоятельства возникли.

– Ладно, – сказал лейтенант, – жди у моря погоды. И, подозревая Мусу, велел ему выводить людей через тамбур соседнего вагона.

Когда лейтенант последним спрыгнул на землю, роты были уже выстроены напротив своих вагонов и шла переключка. Лейтенант пересчитал людей и отправился с докладом к головной роте, где стояли офицеры немногочисленного штаба и приемного пункта.

– Командир одиннадцатой роты, – сказал ему подполковник, начальник эшелона, – задержитесь.

Когда переключка окончилась, подполковник приказал:

– Рассчитайтесь с проводницей.

– Товарищ подполковник, – возразил лейтенант, – разрешите доложить...

– Не разрешаю, – оборвал подполковник, – пока с проводницей не рассчитаетесь, буду держать роты. У меня эшелон не принимают из-за вашей нераспорядительности.

Это было обидно, это было несправедливо, это было черт знает что! Но это был приказ. Лейтенанту оставалось только одно: ответить по уставу: «Есть!» – и выполнить приказание, как велит тот же устав: беспрекословно, точно и в срок. Лейтенант представил самодовольное веснушчатое лицо ефрейтора и вдруг с поразительной ясностью понял, что ефрейтор тратил проводницыны деньги, он вспомнил, как оживился ефрейтор, увидев пачку рублевок и трешниц в руках у Ибрагимова, с отвращением вспомнил его потребительское хихиканье во время их первого ужина и как потом от него пахло водкой. Не только водкой – казенными деньгами от него пахло, казенными деньгами и подлым расчетом, и это было омерзительно.

Лейтенант почувствовал, что у него зудит спина. Это было предчувствие беды, потому что он уже знал, что в следующее мгновение скажет:

– Товарищ подполковник, можете держать роты хоть до утра. Я деньги собирать не буду.

Он действительно произнес громко эту фразу, чувствуя, как проваливается в пропасть, в некую кромешность, ошестинившуюся остриями ставших в одну секунду враждебными терминами: арест, административное дознание, суд чести, парткомиссия...

И лейтенант повернулся через левое плечо и пошел, заставляя себя твердо ступать по убегающей из-под ног земле.

В это время к подполковнику подбежал капитан, начальник штаба, что-то сказал ему, и подполковник громко окликнул лейтенанта. Лейтенант вернулся и стал перед подполковником, сдвинув каблуки пыльных хромовых ботинок, готовый ко всему.

– Лейтенант, – сказал подполковник, – ваши призывники оказались сознательнее вас. Деньги уже собраны и уплачены. А о вашем поведении я доложу по команде и укажу в отчете. Идите.

– Ну и зря, – сказал лейтенант, – ну и дураки.

Все вдруг стало ему безразлично и неинтересно, и он подумал, что неплохо бы отмыться, поужинать в ресторане и водки выпить.

Ефрейтор поступал в распоряжение приемного пункта. Лейтенант с ним даже не попрощался. С призывниками же попрощался с каждым за руку, некоторые обнимали его – видно так было принято в их родных селениях. А у Мусы спросил:

– Зачем деньги собирал? Я ведь не давал приказания.

– Ай, – сказал Муса, – этой дуре тоже нужно как-то жить. И потом я тоже любопытный. Очень хотел узнать, куда же девались эти подушки.

– Узнал? – спросил лейтенант, теряя безразличие к жизни.

– Узнал, – сказал Муса, – они их в туалет спрятали. А туалет перед станцией закрыли.

– Как же ты узнал? – спросил лейтенант.

– А она сама сказала, – улыбнулся Муса, – за пятьдесят рублей сказала. Я ей предложил: «Скажешь – получишь пятьдесят рублей. Не скажешь – ничего не получишь». Она и сказала.

– Ничего себе, – ошарашенно произнес лейтенант, – ну и любопытный же ты мужик... И неожиданно для самого себя добавил: – Может, увидимся еще когда, чем черт не шутит...

Послышались команды. Сержанты приемного пункта стали сколачивать роты в общую колонну.

Все шло по заведенному порядку.

Командировка кончилась.

* * *

Сегодня в отношении текущей жизни просвещает меня наш грузчик Дима. Диме 27 лет, но он уже бывший бандит из города Одессы. Впрочем, это – с его слов. Дима мыслит понятиями. Понятия – это неписанный кодекс бандитской чести, действующий только среди своих.

– Барыга может обмануть барыгу, – разъяснял мне как-то Дима. – Бандит может обмануть барыгу – это вообще не считается. Но бандит не обманет бандита – это нельзя. И тем более барыга не может обмануть бандита – это вообще невозможно.

Мне кажется, что Дима – романтик. Мне кажется, что для него вопросы чести важнее денег. Мне кажется, что Дима – мифотворец. Романтик-мифотворец, который интересничает с реальной жизнью, превращая ее в вестерн.

Вообще, при приеме Димы на работу, о его прошлом разговора не было. Откуда? Из Одессы. Прописка есть? Нет. Понятно. Книжный рынок – он все-таки рынок, а не государственная палата мер и весов. Наша книжная ярмарка, или КЛУБ, как мы ее называем, едва ли не наполовину состоит из не имеющих в Москве ни прописки, ни временной регистрации. Сегодня, в июле 1998 года, эти люди не имеют права находиться на территории Москвы. Их отлавливают в метро, на вокзалах и в подземных переходах. Их должны по московским законам выдворять из столицы. Но не выдворяют, а отбирают деньги – 50, 100, 150 рублей – и отпускают, чтобы опять отлавливать и опять отбирать деньги. Такое впечатление, что милиционеры их пасут, как дойных коз. А они меняют маршруты, меняют облик, камуфлируются под москвичей в десятом поколении и продолжают зарабатывать деньги там, где требуются не документы, а труд.

Дима снимает комнату в Матвеевском и ездит туда на электричке с Киевского вокзала. Каждый раз, после того как его отлавливают в подземном переходе и отбирают заработанные за день 50 рублей, он с каким-то даже восторгом рассказывает о своих беседах с ментами: «... а он мне говорит: «Какая книжная торговля, ты посмотри в зеркало на свою бандитскую рожу...»

Однажды я вспылел и даже накричал на него:

– Нельзя жить в сложившихся обстоятельствах и не принимать их во внимание! Не надо стричься накоротко, ходить пружинистой походкой в открытой майке, играя накаченными плечами! Купи себе шапочку «Ну, погоди!», надень клетчатую рубашку, возьми в руки газету, две связанные дощечки, как бы едучи на дачу...

Но Дима не внял моим советам. Он порвал с группировками, но донашивает облик, как офицер запаса – военную форму.

Я участвовал в строительстве БАМа. Я еще расскажу об этом подробнее. Но потом. А сейчас – к слову. К слову о бессмысленности некоторых огромных акций и огромных трудовых напряжений. Начали «на ура», на XXIV съезде бухнули лозунг – и вперед. Без экономических, социальных и тем более экологических расчетов. Пользы для населения – как от новой пушки, то есть – никакой. Хоть пушку смастерить непросто.

15 лет спустя, уже не пленум ЦК КПСС – уже руководители новой России – принялись строить войну в Чечне. Но, в отличие от БАМа, – без фанфар и литавр, втихую, говоря поначалу, что никакой войны нет. Авантюру эту роднило с «бамовской» отсутствие «царя в голове». Вслепую, без расчета последствий. Впрочем, может быть, расчет и был, но – ошибочный. Не знаю. Информации нет. Несмотря на море информации – информации нет. Я сочинил тогда такие строчки, которые теперь вертятся в голове...

А в необузданной Чечне
На необъявленной войне
Законов нет, и вовсе не
Известно, что случится.
Какая странная война,
Какая сраная страна:
Она не хочет ни хрена
Работать и учиться...

Я к тому времени уже знал о страшных жертвах, о зачистках, о фильтрационных лагерях, о гибели неподготовленных воинских подразделений. Я знал уже о Буденовске и Кизляре. Да, по сравнению с этим кровавым ужасом БАМ представляется невинной забавой старичка Леонида Ильича.

Сначала эта война, эта бойня, эти репортажи в «Новой газете», эти кадры не притертого еще телевидения леденили душу, сводили с ума, потом это как-то притерлось, острота восприятия ушла. Ведь даже на Нюрнбергском процессе во время демонстрации кинодокументов, связанных с концлагерями, публика утомлялась и частично подремывала.

Но недавно опубликованный в газете факт разорвался в голове, как граната. Генеральный прокурор Скуратов отдал под суд группу генералов МВД. Нет, не за то, что в стране почти легализованы бандитские группировки. И не за то, что они причастны к развязыванию чеченской войны. И не за то, что бросили в эту войну на позор и на смерть необученных новобранцев, которых, кроме всего прочего, еще и не кормили как следует, а то и вовсе обрекали на произвол судьбы. Генералов, оказывается, собираются судить за то, что они украли четыре миллиарда рублей, выделенных для выкупа из чеченского плена ими же подставленных солдат.

Об этом сообщил в газете Юрий Щикочихин.

По-моему, это – цинизм века.

* * *

Итак, я появился на свет в последний год первой трети двадцатого века. Место рождения – город Ленинград. Я не могу назвать себя типичным представителем этого столетия по той простой причине, что типичных, то есть похожих на миллионы других, вообще не существует. Все разные. И только сумма судеб может дать представление о времени. Например, моя жизнь прошла по таким этапам: детство в Ленинграде, в нежной, любящей друг друга, абсолютно обрусевшей еврейской семье. Четыре года войны, проведенных в далеком уральском селе Огнево. Пять послевоенных лет опять в Ленинграде, голодных, надо сказать, лет. Военно-морское училище. Флот. Эстония. Лет тридцать в Эстонии. Москва.

Семейное предание гласит, что отец мой познакомился с мамой в 1918 году в Самарканде, где преподавал математику в школе, еще недавно именовавшейся женской гимназией. Образование у отца было тогда среднее, да и лет ему было всего девятнадцать. Маме же было шестнадцать лет, и она в этой школе училась. Семья у мамы была большая: шестеро детей. У них был дом и сад, и отца определили к ним на постой. Отец влюбился в маму, ставил ей по математике ни за что пятерки, три года ухаживал, потом женился.

Потом он уехал в Ленинград, где заочно окончил университет, одновременно преподавая в учительском институте математику. Он был человеком вспыльчивым и влюбчивым. Однажды, уже после того, как родилась моя старшая сестра, вообще покинул маму. Но года через два вернулся к ней. Несмотря на такой далекий от идеала характер, мама его горячо любила, родила потом меня, а потом, перед самой войной, мою младшую сестру Лену. И

мы беззаветно любили отца и горько оплакивали его гибель в 1942 году. Здесь мне хочется предложить возможному читателю написанную двенадцать лет тому назад новеллу «Гороховая каша». Вообще некоторые написанные мной в разное время новеллы и стихи из тех, что абсолютно автобиографичны, будут появляться в тексте этих записок...

Гороховая каша

Моя младшая сестра отца совсем не помнит, а я помню все-таки.

Мы расстались с отцом в 41-м году, сестре тогда было немногим более двух лет – этот возраст обычно не задерживается в памяти. Я же перешел во второй класс, и впечатления того времени остались в моем сознании не только контурно, но и рельефно. Отец был высокий, худой, курящий – курил обычно «Беломорканал». Руки у него были сильные, ладони большие и добрые.

Папа.

Папа преподавал математику в институте. Наверное, он был хорошим преподавателем: сохранились благодарственные адреса с большим количеством подписей. И мама говорила, что его очень любили студенты.

Кроме того, папа писал стихи. Я запомнил какие-то смешные строчки – он потешался над нами, своими детьми.

«Трудно Ринне очень жить... – это про мою старшую сестру, семиклассницу, – не успеть повсюду. Если к Гале мне сходить, я в кино не буду. Опоздаю я когда, буду в страшном горе я: музыкальная тогда пропадет история».

Шел в то время такой замечательно веселый фильм: «Музыкальная история».

Еще помню баню на улице Чайковского, бывшей Сергиевской. Отец кладет меня на широкую каменную скамью, покрывает спину и ноги мыльной пеной и драит мочалкой до полной чистоты. Потом, схватив за ногу и за руку, перекалывает, задержав на мгновение в воздухе невесомое тельце.

Странно: я не только помню ощущения, но словно бы вижу со стороны эту картинку – отца и себя.

Безусловно, память перемешалась с воображением. Это была не самая близкая от нашего дома баня. Но папа водил меня именно в нее. Там был бассейн – вот в чем дело! Бассейн, а также душ Шарко, а также циркулярный душ. И все эти немислимые удовольствия увенчивались буфетом с лимонадом и конфетами.

Любил ли я тогда своего отца? Да нет же. Любовь – ведь чувство беспокойное. Я просто счастливо жил, худенький ленинградский мальчик, желанный сын своих родителей.

Отец был частью этой моей безмятежной жизни, такой же естественной частью, как мама, сестры, школа, двор, кино, книжки и выезд на дачу летом – в город Сестрорецк. Такой же естественной частью, как воздух.

Любил я отца в эвакуации, когда его не было с нами.

Вот тогда я его остро любил, тем более что мама всегда много о нем говорила, создала и поддерживала в нашей полуголодной жизни атмосферу любви к отцу и надежду на встречу с ним.

Да, тогда я твердо знал: больше всего на свете я люблю папу.

Последнее явление отца в моей жизни: пилотка, гимнастерка с лейтенантскими кубиками в петлицах и командирская планшетка на тонком ремешке. И отец достает из планшетки великолепный армейский складной нож с деревянной ручкой и протягивает мне. И я не расстаюсь с ним ни днем ни ночью и теряю его потом в одном из эвакуационных эшелонов.

Папа умер 13 марта 1942 года в одном из ленинградских госпиталей, от истощения и воспаления легких. Раньше официального извещения пришло письмо от нашей близкой родственницы, оставшейся в блокадном городе. Мы жили тогда на Урале, в селе Огнево, у агрономши Антонины Васильевны Ямщиковой. Мама работала в интернате, а мы все нахо-

дились в своих возрастных группах. Вернее так: завтракали и обедали в своих группах, а ужинали все вместе дома. Ужин младшая сестренка приносила с кухни в кастрюльке.

Я отчетливо помню, как она принесла в кастрюльке гороховую кашу. Ее варили не из гороха даже, а из гороховой муки, она жидкая была – полукаша-полусуп, но вкусноты по тем временам необыкновенной. И вот пятилетняя сестренка принесла жидкую нашу гороховую кашу, а мы – мама, я и старшая сестра только что прочли письмо о том, что папа наш умер, и все трое плакали горько, потому что это было очень большое горе. Мама наша разлила кашу по мискам, но есть не ела: попробовала, и не смогла. Старшая сестра тоже не ела: попробовала немного и перестала. Мы все четверо плакали над своими мисками, и слезы наши капали в жидкую кашу, и мне сейчас то ли помнится, то ли кажется, что каша становилась от этого солоней. Я, однако, съел свою кашу и не наелся: я никогда не наедался в те годы. И мама пододвинула мне свою миску, и я стал есть, преодолевая стыд. Да, мне было стыдно, что я, во-первых, ем мамину порцию и что я, во-вторых, не теряю от горя аппетита. Но чувство голода было сильнее чувства стыда, и я доел все из маминой миски, а потом и из миски старшей сестры, и впервые за долгое время ощутил что-то наподобие сытости. И за это благодатное ощущение мне тоже было стыдно. До сих пор, вспоминая этот горестный вечер, чувствую сильное внутреннее неудобство.

А кашу гороховую полюбил, как ни странно, на всю жизнь. Не из муки и не жидкую – такую не варят в мирное время – нормальную гороховую кашу, присоленную чуть больше нормы.

* * *

Сколько помню, я не нес в себе ни малой толики еврейства – ни языка, ни культуры, ни обычаев, ни специфических воспоминаний. Я ничего этого не унаследовал от старших родственников, мы все были русскими советскими людьми, и, честно говоря, мне было незнакомо понятие национальности. Узнал я о том, что еврей, только когда началась война, мне об этом рассказали интернатские ребята. Они объяснили, что я виноват ни больше ни меньше как в том, что Гитлер напал на Советский Союз. Значит так: Гитлер сказал Сталину: «Выдай мне ваших евреев, чтобы я их убил, а не то я на вас нападу». А Сталин отказался, и Гитлер напал на Советский Союз. А меня за это лупили и обзывали жидом. Для меня это обзывание было таким оскорблением, на которое я должен был отвечать дракой. Уж не помню, кто внушил мне эту повинность: драться в ответ на «жида», но помню, что она руководила мной как бы помимо моей воли. Мне здорово попадало от пацанов, и я сам себе пообещал, что когда вырасту и поумнею, сочиню об этом стихотворение, и, действительно, лет через тридцать сочинил. Стихотворение, а потом и новеллу, в которую вошло это стихотворение, я позже приведу ее полностью.

Так вот, в детстве я не слышал ни одного еврейского слова, разве что бабушка говорила иногда, как бы подсмеиваясь – «бекицер», что означало – «быстрее», или – «мешигене», что означало – «сумасшедший». Но я не знал, что эти вплетенные в русскую речь слова – слабое эхо языка моих предков.

Моя старшая тетя Эмма в 1914 году вышла замуж за военнопленного поляка и уехала с ним в Польшу. Во время второй мировой войны она попала в концлагерь Освенцим, где провела четыре года, но осталась жива, так как сидела в лагере не как еврейка, а как поляка. В 1957 году она приехала в Ленинград, и как раз в это время крейсер, на котором я служил, вошел в Неву на парад, посвященный 250-летию города. Я сошел на берег и увиделся с тетей. Ей было под семьдесят, но она была бодра, оживлена, много шутила со своими младшими сестрами – моими тетями и мамой. В сознании не укладывалось, что этот человек прошел

Освенцим. Мне запомнилась идеальная, как парик, укладка седых некрашенных волос и татуировка. Татуировка была на запястье левой руки – синие цифры лагерного номера.

Вернувшись на корабль, я написал рапорт, где докладывал, что у меня изменились анкетные данные: вчера я узнал о существовании родственников за границей, а именно – тети в Польше. Так было положено. Но времена были уже хрущевские, Польша считалась почти не за границей, и меня поэтому поводу даже не снимали с заграничных походов и не лишали допуска к секретным документам по форме № 1.

Все мамы сестры выходили замуж не за евреев. Фамилии моих двоюродных братьев и сестер – Чистосердовы, Ковалевы, Моисеенко, Черноенко. Для семьи это ровным счетом ничего не значило. Мама вышла замуж за моего отца Самуила Петровича Штейна, и это тоже ни для кого ничего не значило. У моих предков, по крайней мере, поколения моих родителей – национальное самосознание начисто отсутствовало. По отцовской линии мы вообще произошли от николаевского солдата, но об этом я узнал лет в пятьдесят от своего дяди драматурга Александра Петровича Штейна, которого с детства и до самой смерти родные называли Шуриком.

– Знаешь, Шурик, – сказал я как-то, сидя в уютной, с детства знакомой гостиной квартиры на улице Черняховского, – я позвонил в Ленинград, в журнал «Звезда» Смоляну, заведующему отделом прозы. Там у них лежит моя повесть «Солнце на перекладине», и Смолян мне сказал: «Почему бы Вам из уважения к Вашему дяде не взять псевдоним, чтобы не было путаницы? И потом. Почему бы Вам не сменить фамилию главного героя – Розенталь – на какую-нибудь другую?»

– Ну и что ты ему ответил? – спросил Шурик, знаменитый, между прочим, советский драматург.

И я не без удовольствия рассказал, что ответил так:

– Я думал об этом. Но если я возьму псевдоним Иванов, это будет явное приспособленчество. Если, например, Кауфман, – Вы первый будете смеяться. Иногда писатели элегантно образуют псевдоним из имен своих жен. Это как бы не приспособленчество, а романтизм. Лидин, например, Галин, Люсин. Но мою жену зовут Лена. Согласитесь, это не тот случай.

Надо сказать, что Шурик вопреки ожиданию не развеселился от моего рассказа. Он только неопределенно хмыкнул и спросил, что я ответил на предложение изменить фамилию главного героя.

А я честно ответил, что мой Розенталь – это автора, и я не могу назвать его Петровым-Ивановым.

И тут Шурик спросил меня:

– А ты считаешь себя евреем?

Я как настоящий русский еврей ответил вопросом на вопрос:

– А ты?

Шурик сказал решительно:

– Я – нет. Когда я был мальчишкой, мы жили в Самарканде. Там было много бухарских евреев. Те были настоящие евреи со своими еврейскими штучками. Мы даже дрались с их мальчишками. Как с чужими.

Я вспомнил свои детские невзгоды и подумал: «Шурик, Шурик, зачем ты воевал с теми мальчишками?»

А Шурик продолжал:

– Мой дед, а твой прадед, был николаевский солдат из кантонистов. Помнишь рассказ Короленко «Берко-кантонист»?

Я был темен в этом отношении.

Тогда Шурик достал с полки том Большой Советской Энциклопедии и открыл на соответствующей странице. Я прочитал об этих детских военных интернатах времен Николая I.

Мальчиков туда брали рекрутским набором, они становились крепостными военного министерства. Обращались с воспитанниками жестоко, не все дотягивали до выпуска – умирали от побоев и недоедания. Однако к 17 годам кантонист знал грамоту и какое-нибудь военное ремесло. Прямо из школы он перемещался в казарму и тянул солдатскую лямку – как было тогда положено – двадцать пять лет. Рекрутской данью обкладывались не только крестьянские общины, но и еврейские местечки. Естественно, мальчики рекрутировались из беднейших семей или – сироты. Евреи составляли до 10 процентов кантонистов. Таким образом правительство заботилось об ассимиляции и своеобразном равноправии евреев. Тот, кому выпадало выжить, выходя в отставку где-то в сорок два года, имел право на надел земли и проживание вне черты оседлости в любом месте империи. Что касается религии, то все сводилось к тому, чтобы человек за долгие годы солдатчины принял религию, обряды которой входили в распорядок дня. Но окончательное решение оставалось за солдатом, и привилегии отставника не зависели от его вероисповедания.

Вот таким отставным солдатом и был мой прадед.

Итак, я был по внутренней сути русским человеком, имевшим уязвимое место в пятом пункте паспорта, которое время от времени давало о себе знать. Я думаю, что в Советском Союзе таких «ненастоящих» евреев было большинство, во всяком случае – в крупных городах, вроде Москвы и Ленинграда, где не сложилось компактного их проживания, или в таких областях деятельности, как военное дело, флот, авиация, литература, искусство, советская и партийная работа, а также медицина, спорт и так далее. Эти поля всегда имели свои специфические ландшафты – такие яркие, что для национальной специфики там места не оставалось. И только государственная политика негласного национального сдерживания не давала мне и мне подобным полностью забыть о своем «изъяде» и подталкивала нас друг к другу.

Первые освоенные мной еврейские анекдоты как раз относились к этому сдерживанию, к этой вялой, но неиссякаемой дискриминации:

- Гол забил Гершкович.
- И защитали?

В отделе кадров.

- Вы нам подходите. Как ваша фамилия?
- Абрамович.
- Знаете, я ошибся. Это место занято.
- Скажите, а может быть, мой друг подойдет? Его фамилия Хаймович.
- Нет-нет.
- А другой друг? Гуревич.
- Скажу вам откровенно: никого с фамилией на «ич» мы не возьмем.
- А на «ко»?
- Пожалуйста.
- Коган, заходи!

Смешно. И грустно. И это «смешно и грустно» стало приобретать для меня черты некоего национального характера, носителями которого были евреи Одессы, Эстонии, Литвы, Молдавии, думаю, что также Белоруссии и Украины, но с ними я не сталкивался близко. Видимо, этот национальный характер родился и выжил в тех местах, где исторически евреи жили компактно: в местечках, за чертой оседлости, где по сей день в семьях звучит идиш, где ходят в синагогу хотя бы за мацой на пасху и говорят с акцентом – чаще всего – нарочно, с юмором, например, вместо «не знаю» – «я знаю?».

А в Биробиджане – «их вэйс?»

– Рабинович, почему вы отвечаете вопросом на вопрос?

– А почему бы мне не отвечать вопросом на вопрос?

Я полюбил еврейский акцент, особенно, когда изюминкой является именно интонация. Идут два еврея мимо здания КГБ в Ленинграде. Один смотрит на «Большой Дом» и тяжело вздыхает.

Другой говорит:

– Он мне будет рассказывать!

– Вы знаете, вашу жену имеет весь город!

– Вы знаете, вашу тоже!

– Да, но все-таки!

Товарищеский суд.

– Вы обозвали Рабиновича дураком. Извинитесь.

– Как я должен извиниться?

– Скажите дословно: «Рабинович не дурак. Извините».

– Рабинович не дурак? Извините!

Еврейство стало меня увлекать. Не зная ни Ветхого, ни Нового Завета, ни истории, ни Торы, я интуитивно вошел в неглубокое озеро советской еврейской субкультуры. Будучи офицером, принимал участие в еврейской самодеятельности: читал свои стихи, в частности, ту самую «Интернатскую балладу», о которой уже упоминал и которую скоро приведу здесь полностью. Позже год проработал в Камерном Еврейском музыкальном Театре – завлитом (на самом деле – кем-то вроде пресс-секретаря и рекламного агента). Там на бесконечных репетициях и спектаклях я впитывал в себя еврейские мелодии – и «Хава нагила», и «Золотой Иерусалим», и многое другое. Но думаю, что причиной этого моего увлечения явился не зов крови, а суть предмета. Ведь в разные периоды жизни я увлекался и другими этносами. В юности – украинским языком и обычаями. В училище у меня был друг, близкий, как брат, – Коля Маляренко. Мы ездили с ним в отпуск в село в Николаевской области, я там месил чавур и управлял воловьем упряжкой. Я обожал украинский юмор, например, Тарапуньку и Штепселя, которых однажды в числе других офицеров принимал в кают-компании крейсера «Жданов». Любил украинскую поэзию, учил Шевченко «на мове», дружил с некоторыми украинскими поэтами, был знаком с Линой Костенко. Лина подарила мне свою книжку, я выучил из нее стихотворение «Стары дубы».

Недели две мне довелось прожить в глухом селе в Винницкой области. Тогда еще и в городах-то мало у кого был телевизор, и вечера там коротали – сейчас трудно поверить – пением. Пели хором, на голоса, безо всякой гармошки. Без публики – для себя. Пели и все. Выпевали Душу.

Был период увлечения сибирско-уральской повадкой. Тогда я начал мотаться по Сибири и научился говорить по-сибирски, и научил этому героев своих повестей.

И – Эстония. Это – часть жизни, часть души. Труд понимания народа и его духа...

Эстония моя, ты мне не мать.

В твоих скупых лучах мне не согреться.

И не надеюсь я завоевать

Твое – такое замкнутое – сердце,

Ну что ж, односторонняя любовь —

И горькое, и сладостное благо.
Достоин уважения любой
Влюбленный безнадежно бедолага.
И я твоих объятий не прошу.
Но я в душе ношу тебя, ношу.

К слову – об Эстонии и об «Интернатской балладе». Однажды, когда эсминец «Серьезный», на котором я плавал, стоял на рейде, меня с рейда вызвал оперативный дежурный. Мне дали катер, я прибыл. Оперативный сказал, что я должен позвонить в горком партии по такому-то номеру. Я позвонил.

– Извините, что я вас побеспокоила, – ответил женский голос. – Я инструктор отдела пропаганды Авива Глезер. Я была на вечере еврейской самодеятельности, и мне очень понравилась ваша «Интернатская баллада». Не могли бы вы выступить у нас в горкоме, почитать свои стихи?

Я думаю, что это было возможно только в Эстонии.

А впервые я «огласил» свою «Интернатскую балладу» на литобъединении таллиннского Дома офицеров, который сокращенно назывался – ДОФ. Об этом – новелла, которая называется...

Так было

– На западе еще не отгремело, – начал я с волнением.

– Где не отгремело? – спросил руководитель литобъединения.

– На западе, – упавшим голосом пояснил я, чувствуя, как теряет цвет и запах оторванная от стихотворения строчка.

Руководитель литобъединения был то ли глуховат, то ли невнимателен – во всяком случае, он чаще всего переспрашивал начало. Потом, правда, слушал, не перебивая, а когда молодой автор заканчивал чтение, обводил, сняв очки, аудиторию рассеянным взглядом и задавал свой обычный вопрос, казавшийся сакраментальным:

– Давайте подумаем, что автор хотел сказать своим высокохудожественным произведением?

Все мы были молодыми авторами – независимо от возраста.

Таллинн. Дом офицеров флота. Читальный зал на четвертом этаже. Год шестьдесят пятый, кажется.

На мне тужурка с капитан-лейтенантскими погонами – вершина моей офицерской карьеры.

Хрущев, XX съезд, переворот сознания, море искренности, море невозможных доселе парадоксов, море непривычных созвучий, замирание сердца от ниспровержения официоза – и у меня закружилась голова, и я рухнул в это море свежих чувств – гражданских и личных, рухнул всей своей освободившейся от панциря душой, чистым сознанием, не отягощенным знанием Блока и Пастернака, тем более – Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама. И вахты мои стали пролетать незаметно: четыре часа, как одна минута. С тех пор осталась у меня полезная привычка сочинять стихи без карандаша и бумаги.

– Давайте, давайте, – сказал руководитель литобъединения.

Голос у него был хриплый, он много курил, и поэтому то и дело откашливался. У него был бритый налысо череп с крохотным чубчиком, залезанным назад. Глаза смотрели молодо и озорно.

– Давайте!

Я тоже откашлялся и прочел заветное свое стихотворение уже без остановки – с начала до конца...

На западе еще не отгремело.
Метель белила интернатский дом.
А мне до крайней точки надоело,
Что голодно и что зовут жидом.

Бывает безысходность и у детства.
Несчастья обступают, как конвой.
Незнаемое мною иудейство.
В меня плеснуло скорбью вековой.

Нет, я не ведал про донос Иудин.
И что Христос был предан и распят,
Я не слышал. Но завтрак свой и ужин
Я отдавал сильнейшим из ребят.

И второгодник Николай Букреев

Мне разъяснял вину мою сполна:
Не выдал Сталин Гитлеру евреев,
Из-за того и началась война.

Я был оплеван интернатской бражкой.
Я был забит. Я был смотрящим вниз.
Я звался Мойшей, Зямкой и Абрашкой,
Имея имя гордое – Борис.

Во мне-то было килограммов двадцать
Живого веса вместе с барахлом.
Но я себе сказал: «Ты должен драться».
И я сказал Букрееву: «Пойдем».

Наш задний двор. Площадка у помойки.
На задний двор не приходили зря.
А пацаны кричали: «Бей по морде!»,
Подбадривая Кольку-главаря.

Ударил я. И все исчезло, кроме
Рванувшейся неистойвой грозы.
А дрались мы всерьез: до первой крови.
До первой крови или до слезы.

Букреев отступал, сопя сердито.
Он, черт возьми, никак не ожидал,
Что двадцать килограммов динамита
Таило тело хилого жида.

До первой крови. В напряженьи адском
Я победил. Я выиграл тот бой.
А мой отец погиб на Ленинградском.
А Колькин – в то же время – под Москвой.

Я замолчал, и все молчали: матросы, несколько офицеров, девушки, учительницы на пенсии и мужчины разного возраста и разной степени необразованности. Все молчали, и я тем более молчал, и было мне почему-то тоскливо. Все, о чем рассказано в стихотворении, действительно происходило со мной в последнюю военную зиму в далеком уральском селе Огнево, где я жил вместе с матерью и двумя сестрами на квартире у агрономши Ямщиковой в узкой спальне пятистенной избы. Мать была в интернате воспитательницей детсадовской группы, а я существовал в группе своего возраста. Все так и было, изменил я только фамилию своего противника: его на самом деле звали Юра Калганов. Я сильно переживал тогда свое долгое унижение, но пожаловаться матери или воспитательнице не мог: не позволял кодекс мальчишеской чести. Не помню, кто и как внушил мне этот кодекс, но помню, что был он непререкаем для меня: убили бы – не пожаловался. И помню еще – поклялся тогда себе, что когда вырасту, напишу об этом стихотворение. Эта клятва облегчала душу. Минуло двадцать лет, я выполнил долг перед детством, и вот они, мои первые слушатели: сидят, молчат, ничего не говорят, а я и не знаю, что жду от них, просто носил, носил свою ношу, вынашивал, и вот скинул, и стало на душе опустошенно и тоскливо.

– Так, – прервал молчание руководитель литобъединения. – Так.

Я думал, что он сейчас спросит, что автор хотел сказать своим высокохудожественным произведением, и как-то равнодушно ждал этого вопроса и возможного обсуждения: ничего автор не хотел сказать, описал, как было, и все.

Но руководитель наш не стал задавать своего сакраментального вопроса. Он какое-то время молчал вместе со всеми, и глаза его потеряли живость. Да, глаза потеряли живость, а голос обрел задумчивость, даже правильной сказать – раздумчивость умудренного жизнью человека.

– Ну и кто это напечатает? – спросил он.

Я пожал плечами.

– Ну а зачем писать-то про это?

Я поймал себя на том, что застегиваю и расстегиваю тужурку. Я застегнул ее окончательно и проговорил:

– Так было...

– Не обо всем, что было, следует писать, – сказал руководитель литобъединения. – Я же, например, не обо всем пишу, что было в жизни... да... А бывало всякое.

И в качестве примера он привел историю, ради которой я взялся сейчас за повествование.

– До войны это было года за три, – голос его дребезжал от сдерживаемого кашля. – Я матросиком был, старшинкой, старшиной второй статьи на Дальнем Востоке... И раз меня позвали на встречу нового года. Я дружил с двумя ребятами из НКВД. Ну, они меня и позвали...

Нет, я не могу воспроизвести его речь – не помню. Слов не помню, а картинка, нарисованная им, навсегда осталась в памяти. Говорил-то он просто и образно, помнил детали – они оживляли повествование. В немногочисленных его произведениях эта простота и образность плюс детали играли положительную роль. Так что история, рассказанная в качестве подтверждения той мысли, что не обо всем, что было, следует писать, осталась в моей памяти как бы сама по себе, словно я сам пережил ее, или по крайней мере наблюдал, или видел в кино. И мне остается изложить ее своими словами.

Каким образом тот дальневосточный старшина второй статьи подружился с «ребятами из НКВД», понуждала ли его эта дружба совершать какие-либо поступки, осталось неизвестным. Я сам пять лет проносил матросский воротничок и знаю, что дружить матросу с офицером всегда было непросто.

Так или иначе, два молодых краскома из наводящего страх ведомства отправились встречать новый год, прихватив с собой младшего по званию и по возрасту приятеля. Особенность ситуации заключалась в том, что шли они не в компанию, где собирают стол в складчину, и не в гости, где ждали их с открытым сердцем, – они шли в семью некоего профессора, арестованного, как и многие в то время, ни за что ни про что, причем, они как раз и производили арест.

Что за профессор, каких наук? – старшина второй статьи не знал, потому что не интересовался. Запомнилась ему, однако, обстановка профессорской квартиры: много книг, антикварных вещей, старинные часы в деревянном корпусе.

Краскомы, веселясь, поведали, что они явились неделю назад в эту квартиру, оставшуюся без хозяина, и заявили, что придут встречать новый год, чтобы, значит, все было подготовлено в лучшем виде. Семья профессора состояла из жены, еще молодой, убитой горем женщины, и взрослой дочери, которую не могло изуродовать никакое горе. Перепуганные женщины поспешно согласились, сказали «милости просим», еще какие-то глупости и пролепетали, теряясь и тушуясь, просьбу сделать что-нибудь, как-нибудь поспособствовать, чтобы там с их профессором получше обращались. Краскомы милостиво согласились

посодействовать, и женщины уже с неким подобием энтузиазма стали вместе с молодыми людьми обсуждать новогоднее меню.

И они пришли тридцать первого декабря, как и полагается, сходяв перед новым годом в баню, надраив сапоги, пришив чистые подворотнички и отутюжив гимнастерки. И наш старшина, тоже наутюженный и надраенный, в первом сроке, в воротничке, травленном хлоркой и заглаженном на две складки – одним словом, при всем параде – тоже явился с ними, прибыл, так сказать, для встречи нового года.

В жизни он не сидел за таким столом: салфетки – и те были накрахмалены. А шампанское стояло в серебряном ведерке, наполненном колотым льдом, и к нему прилагалась тоже салфетка, чтобы, значит, не братья руками за холодное. Как на открытках, которые продавали на рынках инвалиды.

Старшине скоренько соорудили пятый прибор, пододвинули стул.

– Проводим старый год, как у людей полагается, – сказали краскомы. Проводили. Прошли для начала по коньяку. А уж закуски-то, закуски – все дальневосточное великолепие: балычок там, икорка – на таких разложены были тарелочках!

Но натянуто было за столом. Краскомы выпили, и старшина с ними, естественно, пора было веселиться начинать, но веселья не получалось почему-то. Хотя женщины улыбались все время добросовестно. Ну, что делать, когда веселья нет? Все есть: выпивка, закуска, обстановка, да и дамы – первый класс, суперлюкс, года два тому назад никому из них такое и не снилось! Но – нет веселья. Что остается? Остаются анекдоты. Значит, так. Армейская многотиражная газета объявила конкурс на самый смешной анекдот из трехсот слов. Чтобы, стало быть, ровно триста, ни больше ни меньше. И первое место занял такой анекдот. Значит, слушайте внимательно. Считаете? Считайте. «У нас в расположении был сортир». Считайте, считайте! «Он держался на трех досках». Считаете? «Кто-то подпилит эти доски». Так. «Остальные двести восемьдесят пять слов сказал старшина, вылезая из ямы».

Вообще-то, наш старшинка этот анекдот слышал, анекдот был старый, что называется, с бородой. Да и откуда было новому-то взяться в одном и том же гарнизоне? Старый-то старый, но смешной же! Представьте себе, как он из ямы вылезает и какие у него находятся слова в количестве двухсот восьмидесяти пяти. Представили? Да-да, женщины представили, это действительно очень, очень остроумно, и они смеются, разумеется. Вот видите: и мать, и дочь, обе смеются.

Смеялись, да. Но веселья не было. А что за новый год без веселья? Зачем собрались-то сюда? Веселиться. Иначе – зачем же? Выпить да поесть? Так это можно и не в новый год, не так ли? А выпить – надо. И – всем. И – непременно до дна. А то одни пьют, а другие только пригубляют. Что значит – не пьем? Не пьют только телеграфные столбы, да и то потому, что у них чашечки кверху дном подвешены. А мы сейчас такой тост предложим, что никто не откажется. За тех, кого нет с нами. А? Такой многозначительный тост... Ну вот, до дна, до дна. Это другое дело. Захорошело, да? Вот видите, захорошело.

Тем временем пришел момент открывать шампанское. Старшина и открывал, как младший по званию. По желанию публики – с хлопостосом. Пробка – в потолок, мимо люстры. Бокалы сдвинули, чтоб не пролить шипучку. С новым годом!

Где застолье, там патефон. Где патефон, там танцы.

– Можно вас?

– Да, конечно.

Старшина тоже осмелился, потанцевал сначала с матерью, потом с дочкой. Мамаша полнеющая была, касалась, танцуя, то грудью, то животом. Дочка тоже хорошо танцевала. По возрасту – младше даже старшины. Но – как каменная. Как каменная и глаза стеклянные.

И старшина сказал потом одному из краскомов:

– Она – как каменная.

– Ничего, растопим!

И – растопили. Стала – бокал за бокалом. Мамаша даже испугалась: что, мол, ты делаешь? А она кричит, ничего, мол, не говори мне, иначе, мол, не могу...

Потом уже фокстроты не стали заводить, одни танго, чтобы, значит, в обнимку...

Потом старшине постелили на диванчике – простыни свежие, крахмальные до хруста.

А краскомы женщин развели по комнатам.

А потом и поменялись. То ли заранее договорились, то ли так само сложилось – вышли одновременно покурить в гостиную, где старшина отлеживался, и договорились. Они, мол, и не заметят. Может и так.

А старшина так и проворочался до утра в крахмальных простынях. Зачем они его-то позвали? Непонятно.

Я думаю так: власть без свидетелей не приносит достаточной сладости. И будущий руководитель нашего литобъединения приглашен был в качестве свидетеля, или зрителя, ибо без зрителя – что за спектакль?

Вот такая история.

Повлиять на судьбу профессора эти ребята из НКВД, конечно же, не могли: следственная тюрьма и управление лагерей – это уже не их епархия. Так что повлиять не могли, если бы даже захотели. Да они и не задумывались. Несерьезно все это...

Вот такая, повторяю, история рассказана была, между прочим, нашим руководителем литобъединения, написавшем в своей жизни несколько весьма достойных, идеологически выдержанных романов, в которых, как уже говорилось, образность и деталь играли положительную роль.

* * *

Я сижу за рулем старого французского фургона «Рено», приобретенного по случаю у «кинутого» в очередной раз драматурга и предпринимателя Валерия Ивановича Шашина. Мы едем со склада НА КЛУБ, то есть к Олимпийскому комплексу – я, грузчик Дима и штук сто ПАЧЕК, то есть упаковок, вмещающих в себя от десяти до восемнадцати книжек.

– Борис Самуилович, – говорит Дима, сильно картавя, я бы даже сказал – умело картавя, потому что, произнося мое имя, он умудряется соорудить мягкое горланное «р», что у меня, например, не получается.

– Борис Самуилович, – говорит Дима, – вы не поверите, я в Одессе имел столько, что мог, например, одолжить человеку на раскрутку десять-пятнадцать тысяч долларов.

Дима никогда не говорит «штука» вместо «тысяча», «бакс» или «зеленый» вместо «доллар». Он, как заправский юрист, называет вещи только своими именами.

– Однажды ночью ко мне приходит сосед Боря и говорит: «Дима, дай пятнадцать тысяч долларов на раскрутку ресторана».

Я дал, потому что знал, что Боря отдаст и будет иметь у нас крышу.

– Поясни, Дима, – интересуюсь я, – кем же ты был в Одессе?

Вопрос мой запоздал недели на две. Об этом спрашивают, когда принимают человека на работу: кто, откуда, кем, когда и почему? Я ничего такого не спросил тогда, спросил только, откуда, и все. Из Одессы, так из Одессы. У нас тут на клубе чуть не половина с Украины. А Дима спокойно объясняет:

– Я состоял в группировке.

– Бандитом, что ли? – уточняю я.

– Ну да. Мы контролировали полгорода и порт. Но сколько это стоило, Борис Самуилович, если бы вы знали, сколько это стоило, сколько грязи, крови, сколько трупов – пока мы отстаивали свои позиции в городе. Но мы их отстаивали, Борис Самуилович!

У меня возникает ощущение какой-то ирреальности происходящего. Словно бы я смотрю в кино «Крестного отца», и один из родственников дона Карлеоне сошел с экрана и заговорил по-русски. Но нет – вокруг меня не Нью-Йорк и не Сицилия: я сворачиваю с улицы Щепкина и ползу наверх по асфальтированной горке, что ведет к «шайбе» Олимпийского комплекса – нашему клубу, нахожу в рядах машин свободное место, глушу мотор, но не спешу открывать дверь кабины: даю Диме дорассказать начатое.

– Все шло хорошо, – продолжает Дима, – город был поделен, разборки прекратились, мы зажили, Борис Самуилович. Я мог оставить в казино две тысячи долларов, и это не было для меня трагедией. Меня сильно уважали, нас вообще уважали, потому что мы решали все по справедливости. К нам под крышу выстраивалась очередь, мы не всех брали.

– А как же ты оказался в Москве безо всего? – спрашиваю я.

– Не надо было нашим ввязываться в политику, – ровным голосом сообщает Дима. – Решили провести на выборах своего мэра. Вложили в человека большие деньги, он должен был, придя к власти, защищать наши интересы. Ну, он, короче, победил, козел.

– Что, не сдержал обещание?

– Он стал нас убирать по одному. Отстреливать. Ко мне пришел друг из РУОПа (с РУОПом у нас были самые тесные связи) и говорит: «Дима, я тебе гарантирую до послезавтра, что тебя не убьют, а за послезавтра уже не гарантирую». Ну я и уехал в Москву.

Мы выходим из машины и грузим пачки на «каталку». У меня особая «каталка»: рама сварена из нержавеющей стали, колеса большие, на подшипниках – ее удобно затягивать вверх по лестнице. Клепали мне это «БМВ» на небольшом авиационном заводике, переживающем не лучшие времена. Во всяком случае, некоторые не загруженные работой специалисты этого завода пристроились пока что у нас на клубе торговать канцтоварами. Вот один из них и предложил мне сварганить за пятьсот рублей тележку. Тележка получилась с роковым изъяном: она на ходу подпрыгивает, видимо, колеса какие-то несимметричные. И я думаю: «И это авиационный завод! Вот и летай после этого на отечественных самолетах!»

Впрочем, мастер свой завод как раз хвалит, говорит, что они, например, по спецзаказу сварили саркофаг для Ким Ир Сена, корейцы остались очень довольны. Ну, конечно, думаю я, саркофаг же неподвижен!

Итак, мы грузим на «каталку» четырнадцать пачек, я беру три пачки на плечо, одну в руку, и мы движемся к служебному входу, где мне предстоит заплатить три шестьдесят – по двадцать копеек за каждую пачку. За пронос. Как объяснить этот сбор, никто не знает. Как никто не знает, почему, платя двести рублей в день за торговое место, я отдельно плачу десять рублей за собственный вход. И десять рублей за вход Димы. Это положено, потому что так заведено.

Я несу свою ношу, Дима толкает подпрыгивающую «каталку», в итоге мы доставляем товар на точку – наше торговое место, которое находится на пятом этаже.

Дима работает обстоятельно, но без лихости, он пачки предпочитает не кидать, а передавать из рук в руки. И очень серьезен. Я не помню, чтобы он смеялся.

– Борис Самуилович, – сказал он мне как-то, – только в двадцать пять лет мне впервые пришла в голову мысль, что можно просто работать. Мне она показалась интересной. Вот я работаю – и никаких разборок!

* * *

Я листаю воспоминания своей жизни, как листаю хорошо знакомую книгу, выхватывая страницы в произвольном порядке. Иногда откладываю книгу и окидываю беглым взглядом свою жизнь, свой век, свое поколение. Моему поколению повезло чуть больше чем предыдущему, на которое обрушились великие физические разрушения – революция

и войны. Мое поколение хлебнуло из ковша скорби Второй мировой войны, а братоубийство, раскулачивание, голод 30-х, массовое политическое безумие, аресты, аресты, аресты, лагеря, лагеря, лагеря, война, война, война... «Ах, война, что ты сделала, подлая...» Великое истребление жизни. Смерть всех, кроме тех, кто выжил. Это доля наших отцов.

А наша доля? А мы?

Мы – поколение зомбированных. Мощная идеологическая машина – часть Советского государства – с рождения вложила в наши головы тенденциозные алгоритмы мышления.

И мы же – поколение, предназначенное для массового эксперимента по перекройке мозгов. Нас закодировали на рассвете и раскодировали на вечерней заре. Выбили код и не поставили нового. Место кода должен был занять здравый смысл. Великий, общедоступный и мудрый, как настоящий вождь. Но нас оказалось слишком много, а здравого смысла слишком мало. На всех не хватило. Честно говоря – мало, кому досталось, а те, кому досталось, не сумели правильно распорядиться своей долей. Его, здравый смысл, надо было принимать осторожно, как пищу после голода, постепенно увеличивая порцию.

Не тут-то было!

И кинулись – кто в мощный бизнес, не зная совести, кто в мелкий бизнес, не зная толка, кто в бандитизм, кто в китчевое писательство, кто во что. А многие, не обретя здравого смысла, отыскивали старые коды и затолкали их обратно в пустующие ячейки, и вылинявшее красное полотнище согрело их ностальгическое стремление к былому убогому порядку.

Да, поколение, которое не назовешь благополучным... Однако, не бесплодно же оно. Это мое зомбированное поколение, напрягшись в единоборстве с благополучными заокеанскими сверстниками, пробило толщу земной атмосферы и запустило Гагарина в космос, подготовив тем самым главное событие XX века – высадку Армстронга на Луну.

Я скромн. Я избегаю безапелляционных оценок, я всегда оставляю место для сомнения. Но в этом я убежден: главным событием XX века является высадка человека на Луну.

Мне посчастливилось увидеть прямую телевизионную трансляцию этого события. Советские-то каналы ничего этого, конечно, не показывали: поджали губы и отвернулись. В газете, на четвертой странице, строк пятнадцать петитом – и все. Но я-то, как уже понятно, жил в Таллинне, и наши телевизоры брали Хельсинки безо всяких дополнительных приспособлений. Был анекдот: «Назовите город в семидесяти километрах от Таллинна, где всегда в продаже есть копченая колбаса?» Ответ: «Хельсинки». Финский ретранслятор прислал мне черно-белое изображение того, что происходило в тот момент на Луне. Я помню свисающий с модуля трапик и человека в скафандре, который попробовал сначала ногой Луну, как пробуют воду перед купанием, потом легко прыгнул с трапика и стал, умеряя силу ног, легкими скачками передвигать по поверхности естественного спутника в восемь раз облегчавшее тело.

* * *

Ветерок прошел не зря
Холодком за воротом.
На погонах якоря
Пламенеют золотом!

Запевалы звенящими голосами рассекают морозный воздух ленинградского пригорода, и моя первая рота в сто глоток рывкает припев:

Эх, соленая вода,

Ветер на просторе!
Полубилось навсегда
Голубое море!

Рота держит крепкий походный шаг, не сбивая ноги, я шагаю в пятом взводе, на шкентеле, то есть в хвосте строя. На левом рукаве шинели в тусклом свете луны поблескивает звездочка и три галочки из золотого шеврона. А на погонах и точно якоря: мы – курсанты. Курсанты третьего курса.

– Раж, два, три! Раж, два, три! Левый фланг, не чащить! – командует старшина роты Нестеров. Он слегка шепелявит, и это, как ни странно, придает его голосу больше властности.

– На меште! Жапевай!

Нестеров учится с нами на одном курсе, но он старше нас: до поступления в училище он семь лет (!) отслужил на флоте.

Спустя двадцать пять лет после выпуска активисты устроили сбор однокашников. Мы съехались, капитаны первого, второго, третьего рангов. Капитан-лейтенанты приехали в штатском, стесняясь не слишком успешной карьеры. Изменились многие неузнаваемо. Некоторые были уже в запасе, человек десять к тому времени умерло. И когда вечером в ресторане гостиницы «Ленинградская» мы взяли на грудь первые градусы, Нестеров – он был капитаном первого ранга – постучал вилкой по фужеру, поднялся и, дождавшись тишины, негромко скомандовал:

– Рота, вштать!

Мы поднялись, отодвинув стулья.

– На меште шагом марш! Раж два три!

Мы переминались в такт команде, стараясь не топтать.

– Жапевай!

Мы пели, смеясь и плача. Рота словно бы переместилась с восемнадцатого этажа современного отеля на тихие улицы Нового Петергофа, и мы смотрели на себя как бы со стороны, нам было уже под пятьдесят, и мы прощались со своей молодостью, полной романтики.

Да...

Но вернемся на ту вечернюю прогулку, с которой я начал это повествование.

– Прямо! – командует Нестеров, и запевалы с первым шагом начинают следующий куплет, и мне хочется вместе с ними пропеть восторженно...

Пробегут-пройдут года
С книгами да картами,
Образцовыми тогда
Станем лейтенантами!
И дальше:
За кормой на всех морях
Волны будут пениться.
На погонах якоря
Звездами заменятся!

Мне ли не знать этих слов, если я сам их сочинил, а рота выучила. Выучила то, что ворочалось в моей коротко стриженной голове и сбилось в слова по моей воле. Есть от чего придти в восторг. Меня распирает – нет, не авторское тщеславие – авторское счастье. Но петь я не могу: у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха. Я могу только рявкнуть с придыханием припев:

– Ийэх, соленая вода!

Но припев как раз сочинил не я, припев был, существовал ранее, как и вся песня «Соленая вода», написанная неизвестными мне законными советскими авторами. Я лишь переделал ее с матросского на курсантский лад. Но факт оставался фактом: я сочинил, а моя рота пела.

Когда я заболеваю...
Только не думай, пожалуйста,
Что это случается часто:
Я, в общем, здоровый лось!
Но ежели что, мечтаю:
Возьму и тебе пожалеюсь,
Чтоб это пустячное дело
Тревогой отозвалось.

Всегда обо мне тревожились:
Сначала – мама,
Потом – командир роты,
Потом – командир корабля.
А я, как и полагается,
Отмахивался упрямо
И время от времени
Выписывал кренделя.

Состарилась моя мама.
Состарилась моя рота.
Исчезли в тумане юности
Огни моих кораблей.
Я – гордый и независимый.
Но нужно, чтоб кто-то
Сказал иногда заботливо:
– Миленький, не болей!

Мне нравился процесс сочинения стихов: попадание в рифму и попадание в ритм. Природа, обнеся меня музыкальным слухом, не поскупилась на чувство ритма. Сначала я проверял себя: считал слоги, загибая пальцы, потом понял, что никогда не ошибаюсь. Сам процесс представлялся мне окутанным романтической дымкой. Я как бы смотрел на себя со стороны: вот я сижу в опустевшем классе, и шинель непременно накинута на плечи, и на меня сходит с небес вдохновение, и в глубине-то души я подозреваю, что когда-то в этом же самом Петергофе, вот так же, накинув на плечи шинель, сидел юнкер Миша Лермонтов...

До сих пор не знаю, что больше радует меня в творчестве: результат или процесс?

Если результат – я мастер.
Если процесс – я графоман.
Так что же? Только честно!
Не знаю. Не знаю, право.

Само морское дело покрыто романтическим туманом, и чувство это – чувство романтики – воспитывалось и поддерживалось в нас всей системой партийно-политической

работы. Никто из нас не задумывался о главном предназначении кораблей, на которых предстояло служить, о предназначении установленных на них орудий, торпедных аппаратов, глубинных бомб. В двадцать лет, даже выполнив стрелковое упражнение из автомата, не задумываешься о жизни и смерти. Романтический ветер сметает подробности. Под черными курсантскими бушлатами ровно бились сердца юношей, ведущих здоровый образ жизни. Но в черной стае случается белая ворона. Нашу белую ворону звали Борей Лукьяновым. Я созрел до новеллы о нем только годам к пятидесяти пяти...

Где граница серьезности?

Где, я спрашиваю, должна быть граница серьезности отношения к жизни? «Со всей серьезностью» – так говорится в назидательных документах. А я думаю: как – со всей? Чтобы ни капельки не осталось про запас? И чтобы серьезность заполнила все пространство, не оставив места легкомыслию?

Друзья мои, однокашники по военно-морскому училищу, капитаны разных рангов, теперь уже – в запасе. Я обращаюсь к вам мысленно вот с чем: вспомним, ребята, Борю Лукьянова, который не достиг лейтенантских погон, сошел на первом этапе многолетней гонки из-за своего слишком серьезного отношения к жизни.

Да нет, мы ведь тоже серьезно ко всему относились. Я помню первое свое дневальство по роте. Сон валил меня с ног, глаза слипались: я ведь не богатырь был – семнадцатилетний послевоенный заморыш, ростом в сто шестьдесят сантиметров. Но я бы умер с открытыми глазами, не сомкнув век, так твердо было убеждение, что вот охраняю сон ста двенадцати своих товарищей. Сон, стало быть, и жизнь. От возможной опасности. В 1950 году, в городе Петродворце, в курортной зоне...

И мимо знамени родного
Пройдя с поднятою рукой,
Смотря, как четко и сурово
Проходит наш курсантский строй,
Любуясь, как на шлюпке лихо
Проходит флотский лейтенант,
Я сам себе признаюсь тихо:
«Я рад, я горд, что я курсант...»

Такие сочинения появлялись тогда в моем дневнике, и надо сказать, что, несмотря на слабость формы, содержание могло удовлетворить любого политработника системы ВМУЗ. Так что серьезность отношения к жизни была. Но не в такой же степени, как у Бори Лукьянова!

Боря Лукьянов готовил из себя блестящего советского военно-морского офицера и блестящего специалиста по радиолокации. В той мере, в которой он все это понимал.

Значит так. Внешний вид: всегда вымыт, все постирано, поглажено, яловые ботинки – всегда до блеска, медные пуговицы – всегда до сияния. Стрижка, естественно, под полубокс, короткие волосы смочены водой для непрямого зачеса назад, всегда чисто выбрит безопасной бритвой в ротном умывальнике с холодной водой. Туалетное мыло, пачка лезвий «Нева» и тройной одеколон – атрибуты свежести в условиях сурового быта.

Физически морской офицер должен быть сильно развит – одно из наставлений Системы. «Внешне опрятен, физически развит» – обязательные слова в любой аттестации – с первого курса до ухода на пенсию.

Но, как говорится, слово словом, а дело делом. В нашем, например, училище физкультура была раз в две недели. Всего! Один вторник – физкультура, один – английский. Секции, правда, работали: гимнастика, бокс, лыжи. Еще разрешалось бегать, вместо вечерней строевой прогулки. Мы, скажем, с другом Колей часто бегали, умудрялись даже наладить пятиминутные свидания: в старом парке наскоро целовались и успевали к вечерней проверке.

Боря же Лукьянов сам занимался своим физическим воспитанием по собственной системе. Прежде всего он отказался от послеобеденного сна. Это при постоянном недосыпе! Ведь мы несли и дневальную, и караульную службу. И в те полтора часа, когда вся рота

глубоко и ровно дышала, Боря приседал и отжимался, а также крутил полупудовые гантели, а после завел и гирию. Спортивное железо с дозволения начальства хранил под кроватью и регулярно протирал его тряпочкой. Теперь в ходу такие слова, как «культуризм» или даже «бодибилдинг», а также «суперменство». Тогда, в начале пятидесятых, мы этих слов не знали, да и Боря, разумеется, не знал, занимаясь действительно культуризмом и делая из себя супермена. Зимой бегал – в тот же обеденный перерыв – на лыжах. Причем, не владея ни в малой степени техникой скольжения, просто шлепал по лыжне тяжелыми солдатскими лыжами и пробегал, обливаясь потом, не менее пятнадцати километров.

Была у Бори Лукьянова и девушка – а как же! Он боготворил ее, как дон Кихот Дульсинею, и, не умея рисовать, создал ее карандашный портрет. Для этого остро заточенным карандашом нанес на фотографию возлюбленной решетку, такую же решетку, только в масштабе десять к одному, начертил на хорошем ватмане. И упорно переносил штрих за штрихом с клеточки на клеточку, трудился над этим делом вечерами не менее месяца. Портрет в результате получился странный: лицо было как-то формально похоже на фото, но абсолютно лишено жизни, мертвая копия...

А доконал Борю справочник электровакуумных приборов – Боря решил выучить его наизусть! Он частично преуспел в этом деле и иногда просил учинить ему контрольный опрос.

– 6Н8С – говорили мы, глядя в таблицу. – Напряжение накала, анодное напряжение, напряжение смещения, анодный ток!

И Боря сыпал наизусть вольтами и миллиамперами.

Справочник был толст, Боря терпелив.

Вот интересно: его устремления соответствовали требованиям, предъявляемым курсантам, можно сказать – идеально соответствовали и в то же время поведение его никому не казалось нормальным, и командиры не ставили его в пример. Мы относились к Боре добродушно, как к человеку со странностями. И странности эти подсекли его на третьем курсе на лекциях по тактике.

Когда курсант Лукьянов в первый раз в разгар лекции попросил разрешение выйти, никто не обратил на это внимания. Однако просьбы участились, и преподаватель недоуменно пожимал плечам, а однажды попросил нас поговорить с Лукьяновым: в чем, собственно, дело? Мы поговорили – мой друг Коля и я.

– Понимаете, – с готовностью признался Боря. Он словно ждал этого вопроса. – Понимаете, не могу слушать лекции по тактике. Я все себе представляю и не могу слушать.

Мы не поняли.

– Ну как же, ну что здесь непонятного? Идет, например, тема «Атака подводной лодки глубинными бомбами», а я себе все представляю: как лодка разваливается, как люди захлебываются водой, даже кричать не могут – люди же, люди!

Сам Боря кричал. Вернее так: говорил тихо, а глаза его кричали.

И мы решили, что Борю нужно отвести к врачу, и он согласился.

И мы втроем пошли в медсанчасть, Боря рассказал майору медицинской службы и про тонущих в море подводников, и про падающих с неба военных летчиков, и про истекающих кровью пехотинцев, убитых морскими десантниками. Ни мы с Колей, ни преподаватель тактики, ни майор медицинской службы никогда не представляли этих ужасных картин, а Боря представлял, потому что мы были нормальными людьми, а Боря имел отклонение от нормы.

Это уж потом, много лет спустя, вычитал я чье-то изречение: «Если бы у военных было чуть больше воображения, было бы меньше войн».

А тогда, повторяю, мы вместе с майором медслужбы решили, что у Бори отклонение и его необходимо поместить в психиатрическую больницу, и Боря согласился.

В тот же день его отправили санитарным транспортом в Ленинград, как говорится, в дом скорби, на Черную речку.

Мы навещали Борю Лукьянова. Мы делали это охотно, и не только – чего уж теперь кривить душой – из сострадания к нему. Дело в том, что училище наше находилось в Петродворце, ездить во время увольнений в Ленинград нам строго-настрого запрещалось, но для визита к больному делалось исключение, и нас по пять человек за раз отпускали.

Мы дружно навещали Борю, а остаток дня разгуливали по северной столице. Старшина роты Нестеров строго вел график очередности и фамилии визитеров называл в пятницу на вечерней поверке.

Во время наших встреч Боря вел себя сдержанно, о своих «живых картинках» не вспоминал, жаловался, что не дают писать и рисовать. Действительно, – почему? – до сих пор не понимаю.

Вскоре Борю демобилизовали, из больницы, как социально неопасного, выписали, приехала мать, увезла его в Ростов на Волге.

Земляки навещали его, рассказывали, что учится заочно на математическом факультете, но от странностей не освободился. Во-первых, целые дни проводит среди мальчишек, играет с ними, водит на реку купаться, и никакого другого общества ему не нужно. Во-вторых, во время застольной беседы, держа в одной руке папиросу, в другой – зеленый лук, несколько раз ошибался и в солонку тыкал именно папиросой.

А я иногда думаю: как странно организовалось человечество: нужно выйти из нормы, чтобы приблизиться к истине.

* * *

Мне было лет двадцать шесть с половиной. Крейсер «Жданов», где я служил инженером радиотехнической службы, стоял в «заводе» (именно так говорилось: не «на заводе», а «в заводе»), в навигационном ремонте. Я пересуетился при погрузке мотор-генератора, и агрегат придавил мне большой палец правой ноги. Разувшись в каюте, я убедился в том, что палец посинел, болит и не слушается. Это была первая в моей жизни травма, и я был потрясен. Вот ведь: морской офицер на боевом крейсере, который (крейсер) и силу демонстрировал в нейтральных водах, и стрелял несметное число раз, и десант высаживал, а он (морской офицер) к ущербу для собственного организма был психологически не готов. До такой степени, что заплакал, глядя на свое незначительное, в сущности, повреждение. Пришел доктор – майор Женья Лушев – и отправил меня в госпиталь.

На госпитальную койку я попал второй раз в жизни. Первый – курсантом, прямо с боксерского ринга. Я пришел в секцию бокса, и меня сразу поставили в спаринг с опытным парнишкой, третьеразрядником.

– Приемы знаешь? – спросил меня тренер.

– Знаю один: уклон вправо, – доложил я.

– Ну, давай.

Пару раз я действительно уклонился от молниеносного черного шара, третий же раз черный шар уже поджидал мою скулу в роковой точке пространства, из глаз моих посыпались крупные искры (я их помню!), к вечеру правая часть лица заплыла к чертовой матери, и наутро меня отвезли в госпиталь, в Ленинград.

Вскоре в госпитале появилась моя мама. Она шла по палате, высматривая меня, равнодушно скользнула взглядом по моей деформированной физиономии – не узнала. Я постеснялся при всех закричать «мама!», и сказал:

– Лидия Михайловна!

Тут мама меня узнала и засмеялась. У нее был счастливый характер: из трагедии и комедии она всегда выбирала комедию, и всем от этого делалось легче.

Меня тогда продержали в госпитале всего неделю: согноли опухоль пенициллином и отправили в училище. Мне запомнились только высокие своды госпитальных покоев, возведенные еще в петровские времена, и бесконечные уколы: через каждые три часа – днем и ночью. И все. Одним словом, я не успел тогда вкусить своеобразия госпитальной жизни, она промелькнула, как невыразительный сон. Кстати замечу, что бокса я не бросил, два года потом занимался и имел один (!) официальный бой, который выиграл.

Теперь же я со своим переломанным пальцем довольно основательно утвердился в офицерской палате хирургического отделения Таллиннского Военно-морского госпиталя. Дело мое было несложное: палец даже не взрезали, просто сжали гипсом отколовшиеся кусочки фаланги, ну и делали кое-какие уколы. Тот же пенициллин да глюкозу – для общего здоровья.

О, Военно-морской госпиталь в мирное время, где подлечивали случайные травмы двадцати-тридцатилетним парням, фонтанирующим от здоровья своих организмов! Афганистан, Чечня, Таджикистан – до этих потрясений было еще так далеко, параметры устройства жизни казались настолько незыблемыми, что никто и не задумывался на этот счет. Нет, они не всегда представлялись нам правильными, эти параметры. Отнюдь. Но незыблемыми – да.

В хирургии лечили не только руки-ноги, но и, как ни странно, – зубы. У нас в палате лежал морской летчик капитан Лешка Самохвалов. У него зубы повыпадали от перегрузок. Ему залечивали рот, готовили протезы, укрепляли общее здоровье. Был еще авиаштурман Саша, его хирург уговорил удалить третий палец левой ноги – за то, что тот рос горбиком, не разгибался и рвал обувь.

Один младший лейтенант, стокилограммовый эстонец Яан был аварийщиком: он на своем мотоцикле не разъехался с телеграфным столбом. Причем, вина тут лежала, безусловно, на Яане, потому что столб был трезв, про Яана же этого не скажешь. Когда ему меняли гипс и делали уколы, он мило, с акцентом зубоскалил и норовил ущипнуть или погладить сестру, у которой руки были заняты шприцем, опровергая своим поведением представление об анемичности финно-угорского характера.

Я вспоминаю эту палату, это весеннее буйство за окнами – госпиталь располагался на холме в роскошном парке Кадриорг, – это ощущение радости жизни – от знакомства с офицерами других родов войск, от отдыха при хорошем питании, от новой для меня карточной игры – преферанс. Мы весело занимались своими телами: подставлялись под холодные струи в умывальнике, отжимались от кроватей, табуреток и от пола, швыряли и ловили медицинболы в кабинете лечебной физкультуры. Когда генерал Лебедь обронил фразу «упал-отжался», она мне пришлась впору, сам был в молодости таким «Упал-Отжался», как и все мои военные товарищи.

Здесь кстати сказать два слова о Мише Веллере.

Миша Веллер живет и пишет в Таллинне. И он написал рассказ про меня, Бориса Штейна, моего дядю Александра Петровича, которого ни разу, разумеется, не видел, и про талантливого адмирала Арсения Григорьевича Головка, которому тоже не имело чести быть представленным. Между тем, Головка во время второй мировой войны грамотно командовал Северным флотом, обеспечивая, в частности англо-американские доставки по ленд-лизу. Всех троих Миша изобразил какими-то недоумками, жалкими и дрожащими: меня – от еврейской немощи, со скрипочкой (а у меня по жизни ноль слуха – какая скрипочка, Миша!), дядю – от холуйской услужливости перед адмиралом, адмирала же Головка – от алкоголизма. А ведь Арсений Григорьевич вел здоровый образ жизни и был театралом.

Что касается меня, то конспективно он как бы заявил мне: «Ты, во-первых, еврейский хилый слюнтяй, если что и можешь, так это играть на своей еврейской скрипочке. Во-вторых, жалкий недотепа, а в-третьих, вообще говно». Это мне показалось довольно странным, потому что при личном, довольно близком знакомстве Миша ничего такого не высказывал, напротив, выражал уважение и благодарность за всякого рода помощь, хвалил в газете «Вечерний Таллинн» мою автобиографическую, по сути, флотскую книжку «Отплытие», и когда ел хлеб в моем доме, всегда говорил «спасибо».

Так почему же вдруг?

И, собственно, за что?

Сначала я хотел подать на Мишу в суд – вместе с сыном прославленного адмирала. Но сразу не собрался, а потом остыл. И понял, в чем дело. Я понял как, что Миша персонального против меня ничего не имел. Но ему, как писателю-тайному супермену катастрофически нечего было описывать. И тут он вспомнил меня, которого, слава Богу, уже не было в Таллинне. Небылицы, которые я, смеша компанию, придумывал про себя, Миша принял за чистую монету, вернее, за чистые монеты, из которых можно рационально соорудить капиталец. Правда, все рассказанное мною было юмором и анекдотами, а вышедшее из-под его трудолюбивого пера – пошлостью и ложью, но он этого не учел или просто не понял, а уж наврать не постеснялся.

Эх, Миша, какой же ты оказался пакостник! Тебя пустили в клуб порядочных людей, а ты для самоутверждения нагадил на паркете.

Осколки фаланги моего большого пальца срослись, и я, правда, с палочкой, вернулся на родной крейсер. Надо сказать, что в это время в радиотехнической службе крейсера произошли изменения: начальника РТС перевели на Дальний Восток, и на его место временно назначила меня. Я даже помню номер моей новой каюты – 13. На двери висела штатная табличка: «Начальник РТС». Это была просторная одноместная каюта; к моему возвращению ее вымыли, проветрили, на оргстекло письменного стола заботливо положили свежий номер газеты «На вахте», каковая открывалась первомайскими стихами: «Май – и солнце смеется, первомай, и с утра над волнами несется громовое “ура!”» Короткие строчки были расположены лесенкой с левой стороны первой полосы, а справа было бесхитростно нарисовано огромное солнце и неопределенного класса корабль под праздничными флагами.

Для пушей радости было добавлено красной и синей краски. Под стихотворением стояла подпись: «Старший лейтенант Б. Штейн».

Это была моя первая публикация. Незатейливая, как строевой шаг, она отражала тем не менее душевное состояние автора, не без восторга воспринимавшего регламент жизни и себя в этом регламенте – молодого, здорового, умеющего играть в преферанс и сочинять стихи и получившего – пусть временное – повышение по службе.

А повысили меня в самом прямом смысле. Потому что прежняя моя каюта, как и все каюты офицеров низшего звена, находилась гораздо ниже нижней палубы – на броневой палубе. Под нами были только машины, котлы, цистерны и снарядные погреба. Броневая палуба чуть возвышалась над ватерлинией. Иллюминаторов на этом уровне строители не просверлили, и дышали мы исключительно благодаря вентиляционному грибку. Помню, перед походом в Югославию начальство решило приобрести для экзотики медвежонка. Матросы с удовольствием сбросились по рублю, а старпом собрал офицеров в салоне большой кают-компания и поставил вопрос ребром: давайте решать, где будет жить медведь!

И я, подстрекаемый молодым энтузиазмом и природной любовью к животным, вскочил с места, боясь, что меня опередят, и даже не доложил, а выпалил:

– Я согласен, чтобы в моей каюте!

Старпом, начищенный до блеска капитан второго ранга, покачал головой и заявил без улыбки:

– Отставить! Медведю нужен свежий воздух.

Меня подмывает повести дальше рассказ про медведя, как он шkodничал на крейсере, жрал зубные порошки, обрывал телефонные трубки, укусил за пятку начальника политотдела и, вообще, оказался не медведем, а медведицей. Но я себя смиряю, «становясь на горло собственной песне», так как у меня имеется какой никакой план повествования, а по плану здесь речь должна пойти о власти...

Под моим началом оказались два офицера – моих сверстника и человек тридцать матросов, которые были моложе меня на пять-шесть лет, а также восемнадцать радиолокационных станций, два гидролокатора и один тепlopеленгатор со скромным названием «Солнце-1».

Вся эта аппаратура подлежала ремонту, модернизации, частично – замене. В процессе участвовала моя команда РТС, специалисты береговой мастерской, а также представители заводского электромонтажного предприятия – ЭМПа.

Во главе процесса стоял я.

Из офицера-исполнителя я превратился в офицера-распорядителя.

Мне нравилось распоряжаться. Как мне нравилось распоряжаться!

Почему, собственно, что именно доставляло мне удовольствие? Чувство превосходства над подчиненными? Нет, это мне не свойственно. Самоутверждение за счет подавления других? Да нет же! Корысть? Какая на военном корабле корысть! Так что же тогда?

Я думаю вот что: реализация своих мыслей. Не бог весть каких, утилитарных, по поводу организации труда, выбивания транспорта, использования казенного спирта для стирки гражданских специалистов. Но – моих мыслей. Я считал, что наиболее толково будет сделать так-то и так-то. Оно так и совершалось.

Я избегал внешней стороны власти. Своих офицеров продолжал называть по именам, никаких «товарищей старших лейтенантов». Они тоже не переходили на официальность, но как-то незаметно перешли с дружеского «Боря» на уважительное «Самуилыч».

А матросов своих я любил, особенно «стариков», тех, с кем ходил год назад в Югославию и Сирию, с кем просиживал ночи напролет над принципиальными схемами не ко времени забарахлившей аппаратуры. Это были толковые, добросовестные ребята, старшие матросы, старшины второй и первой статьи. Я до сих пор помню их имена: Хамзин Камил Идрисович, Путрайтис, Адъгидрас Ионо, Зимин Александр Иванович – Саша, Сақун Гриша, Факторович Эдик. Ни о какой дедовщине, унижении молодых не было и речи. Напротив, каждый старался научить своего преемника всему: от физзарядки до обслуживания техники. Эти ребята не подводили меня никогда. В той же Югославии, например, или в Сирии мы сходили на берег группами: пять матросов и офицер. Я отпускал своих на все четыре стороны и назначал встречу где-нибудь у ратуши под часами, и никто никогда не опаздывал. Они не подводили меня и в повседневной службе: зарядка, приборка, занятия по специальности, смотры служебных помещений, а также многочисленные тренировки и учения: по борьбе с пожаром, по заделыванию пробоины, по противоядерной защите, радиодальномерные учения, учебные стрельбы.

Я задавал тон. Мне хотелось, чтобы все было весело и слегка театрально – так и получалось. Мне нравилось ходить под парусом – командир выделил радиотехнической службе шлюпку, и мы без конца лавировали на Таллинском рейде. Мне нравилось быть добрым, прибегать больше к поощрениям, чем к взысканиям – и я был добрым. Мог быть и злым, покрикивать, наказывать – имел право. Но выбрал первое – сам выбрал, никто не принуждал.

У меня была маленькая власть над маленьким подразделением, но ее можно рассматривать как модель. Вместо тридцати матросов может быть триста городов, страны и народы. Психологическая суть та же. Материализация своих взглядов и мыслей, амбиций и желаний. Реализация своей воли посредством совокупности усилий других людей. Разве, что художник реализует себя индивидуально, не принуждая к тем или иным действиям других сограждан. Да и то – если он не режиссер и не дирижер. Во всех остальных случаях власть – единственный инструмент утоления амбиций. Дорогой, надо сказать, инструмент.

И я им счастливо пользовался примерно полгода. Потом кадры прислали постоянного начальника РТС, я был спущен с верхней палубы на броневую и мои взгляды на то, другое, пятое, десятое перестали иметь какое бы то ни было значение. Я закусил удила и насупился. Полет кончился, началось дослуживание.

Боже, как я понимаю Михаила Сергеевича!

Что же касается похода в Югославию, который тут упоминался, то на эту тему я записал новеллу. Именно записал, потому что придумывать ничего не понадобилось...

Я счастлив был в своем крахмальном кителе

...Дорогой товарищ Тито,
Ты нам всем и друг и брат.
Как сказал Хрущев Никита,
Ты ни в чем не виноват...

Так пели тогда в пригородных электричках нищие алкоголики. После незамысловатого куплета следовало прямое обращение к публике: «Граждане-товарищи, для вас пять-десять рублей ничего не значит, а для меня – большая поддержка!»

Но дело, конечно, не в алкоголиках – дело в том, что кровавый палач Брос Тито («Брось, Тито, все раскрыто», – пел острополитический куплетист Илья Набатов), окровавленный мясник с топором, как рисовали его в «Крокодиле», стал в одночасье уважаемым государственным деятелем, и мы намертво задружили с недавней кликой Тито-Ранковича, задружили до такой степени, что крейсер «Жданов» был приглашен с визитом дружбы в Социалистическую Республику Югославия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.